СТРОЙКА

Ивановская Обл. Научн. Библ.
Отдел Краевой

1930

N-1616 К

СТРОЙКА

АЛЬМАНАХ
КОСТРОМСКОЙ
ГРУППЫ РАПП

КНИГА ПЕРВАЯ

№-1616 К

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ОТДЕЛ КРАЕВОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „СЕВЕРНАЯ ПРАВДА“
1930 Кострома

1941 94

Отпечатано в типографии
„КРАСНЫЙ ПЕЧАТНИК“
в гор. Костроме,
Молочная гора, 5
в колич. 1500 экз.
Окрлит № 275.
Заказ № 3168.

Украшения и виньетки
исполнены Кузнецовым
и заимствованы
из русских изданий
18-го и начала 19-го века

Обложка работы
художника Купреянова.

Набирали:
Чемоданов, Макаров, Куранов
Анисимов, Виноградов,
Караев, Клыков, Ядров, Веселов.
Печатали: Поляков, Соколов С.

Выпуском и верстской руководил
Малюшицкий Н. Д.
Метранпажи: Вл. Скворцов,
Ал. Владимиров.

Д. БОНДАРЕВ

ПРОСТЫЕ ДНИ

Наброски к повести

1, 2, 3

. . . . . .

. . . . . .

4

МАТЬ приехала такая же, как и всегда. Черное шелковое платье плотно облегало маленькую фигуру. Она быстро перебегала от одного сына к другому и сбивчиво спрашивала:

— Ну как, мой мальчик? Устаешь, устаешь. Конечно, не дома, не с матерью, вот и тяжело...

Она делала ударение на слове тяжело и бросала на Ирину взгляд. Лицо Ирины было спокойное. Черные глаза глядели твердо и губы не изменяли чуть покривившейся улыбки.

А Алексей, добродушный, слабовольный, мягкосердечный поглядывал на Ирину, на мать светлыми голубыми глазами. Он хотел, чтобы все были довольны, удивлялся неприязни матери к жене, боялся Ирины и ее тяжелой молчаливой обиды.

— Вы, мальчики, все работаете, все за книгой сидите. Никаких развлечений у вас нет. Что это за жизнь? Ведь

вы взрослые. Денег не было бы, а то оба зарабатываете хорошо. Вот только я вижу крепко хранятся ваши деньги.

Новый взгляд на Ирину. Та не выдержала. Молчание было нарушено, но Алексей облегченно вздохнул. Ничего не случилось. Ирина заговорила спокойно и мягко:

— Зарабатываем не плохо. Вон Сергей, кроме денег, даже чай привозит после навигации... Ирина улыбнулась.

Сергей ходил помощником машиниста на низовых пароходах. Приезжая к брату после навигации, он часто являлся с пустыми руками. Скромно, стараясь не шуметь, входил в комнату, но встреча с Ириной была неминуемой. Виновато опустив глаза, Сергей говорил:

— Вот и я. Я знаете ли, привез чаю два фунта...

— Ну, чтож, положи чай в шкаф.

Сергею было не по себе. Он чувствовал себя как-то виноватым, было стыдно, что надо жить за счет брата, но потом все сглаживалось и первые деньги, приносимые в дом Сергеем, выравнивали течение дней.

С матерью братья виделись редко. Она всегда спешила к дочери и сестре, к каким то знакомым. Суетилась, привозила обязательные подарки детям. Для детей она была долгожданной, любимой. Ее встречали криками

— Бабушка Варварушка приехала...

И после спешного. суетливого оделения подарками, дети исчезали, а бабушка Варварушка начинала приводить в порядок родственно-чужую семейную жизнь.

Сейчас она была поглощена заботами о своих мальчиках и по-матерински искала, чтобы им сделать приятное.

— Мальчикам нужно развлечься, — повторяла она уже третий день. Взяли бы денег немного. Заглянули бы куда, выпили, закусили. Вот и порассеялись бы...

В твердо установленные правила внутренней домашней жизни сыновей, которыми верховодила Ирина — она не могла вмешаться. Молчаливость, жесткий взгляд Ирины останавливали все ее попытки.

Поэтому бабушка Варварушка беспокоилась о развлечении мальчишек и наблюдала, какое впечатление на всех троих производят ее слова.

. . . . . .

. . . . . .

— Ирина, дай денег.

Голос у Алексея суров, но взгляд бродит по сторонам. Сергей молча стоит у двери, опустив голову.

— Зачем?

— Да так. Нужно... нам — и Алексей обернулся к Сергею, ища помощи глазами, но тот отвернулся к двери. Тогда Алексей, с отчаянностью вздернув рукой, снова пробубнил тихо:

— Ну, давай скорее.

Ирина молча ушла. Через две минуты она сунула в руки Алексею несколько скомканных ассигнаций. Мать, сидя на диване, наблюдала за происходившим, тихо и светло улыбаясь.

— Ну вот мальчики и поразвлекутся.

А мальчики торопливыми шагами вышли, хлопнув дверью. Зимний день начинал потухать, наполняя комнату серо-синими тенями.

Чай пили молча. Мать беспрестанно подходила к часам и возвращалась за стол, все сильнее громыхая сту

лом. Ирина не хотела говорить первая, а мать ждала этого. Несколько раз она порывалась что-то сказать и вновь низко склонялась над чашкой. Наконец, терпение ее, повидимому, иссякло и она прервала молчание:

— Ира...

— Что мама?

— Ведь это что же, ведь восемь часов...

— Ну восемь?

— Где же мальчики?

— Они развлекаются.

— Ну как ты не понимаешь, Ира, ведь так же нельзя.

— Нельзя? Так ведь все делается так, как вам хотелось, мама.

— Ну что ты, Ира, ведь так же нельзя.

И снова молчание. Мать снова нетерпеливо следила за стрелками часов и слышно было, как она бормотала — Уже одиннадцать. Нет... Я двадцать лет прожила с Петей... Дальше ничего нельзя было разобрать. Ирина ушла в спальную, бросилась на постель и лежала без движения. Делать ничего не хотелось, какой то клубок подкатывался к горлу. Случайно взгляд настиг на столе раскрытую книгу. Она взяла ее, но строчки сливались, буквы прыгали. С сердцем отбросила книгу в сторону и уткнулась лицом в подушку, стиснув зубы.

— Идемте спать, мама.

— Что ты, Ира, а мальчики как же?

— Также, развлекутся и придут.

— Да нет, как же. Уже второй час. Я двадцать лет с Петей прожила, а такого... у меня не было. Что же это такое? Ах, кажется едут...

Она бросалась к окну также, как и несколько минут

назад, но никого не было. Ирина ушла. Слышно было, как мать легла на диван, как она ворочалась и подбегала к окну.

Около трех ночи легкая дремота слетела с заплаканных глаз Ирины. Неистовый и беспорядочный стук несся от сеней. Мать прошлепала ночными туфлями. В комнату ввалились оба брата, сбивая стулья, грохоча мебелью. Мать, побледневшая, полураздетая бегала вокруг сыновей, всплескивая руками, помогая им раздеваться Алексей стоял в дверях спальни. Глаза опухшие, покраснели от прилива крови. Он нелепо размахивал руками в воздухе, пытаясь ухватиться за что-нибудь и кричал: — Молчишь? Ты думаешь, мы пьяны... Врешь. Все книжечки... Будет. Верно, мама, так я говорю?

— Так, так, ложись Леничка, скорей, тебе отдохнуть надо?

— Нет, ты скажи, так я говорю? Верно, Сережка?

— Ладно, к чорту.. пробормотал тот и схватился рукой за грудь:

— Ух, мутит!

— Ой, господи!

— Что же это? Я двадцать лет с Петей... Ира, где ты? Да помоги же мне. Я двадцать лет с Петей...

— То с Петей, а я с вашим Леней живу—резко отчеканила Ирина, нагибаясь к полу, залитому пьяной слизью. Глаза, затуманенные слезами, плохо различали тряпку, пол и все, что было в комнате..

Хмуро глядя в лицо матери Сергей сжимал и вновь раздвигал пальцы руки. Он хорошо обдумал все слова, которые надо было произнесть. Слышал, как Ирина

возилась в соседней комнате и видел как через полуотворенную дверь мелькала юбка.

Но слова задерживались где то в горле, становились пустыми, легковесными и таяли. Наконец, чужим, деревянным голосом Сергей выдавил:

— Ира..

— Что, Сергей?

— Я хочу сказать... слова трудно выходили:—Я, Ира.. мы с Ленькой этого свинства не повторим никогда. Я.. обидел вас?

— Ничего, пройдет—и голос Ирины прозвучал тише.

Сергей вгляделся в мать, а она растерянно улыбалась.

. . . . . .

7

Вздрагивает всем корпусом огромный волжский пароход в такт толчкам машины. С густым шипом шлепают плицы колес по воде, отбрасывая с боков парохода пенящиеся зубчатые волны, мигают электрические лампочки. Синими тенями окутался пароход, режет носом стеклянную поверхность Волги, поворачиваясь то на красный, то на белый огонек бакенов.

Капитан — Алексей Буров — маленький, потолстевший, пьет в каюте чай с блюдца, обжигаясь, на ходу, доливая из стакана и поглядывая на стрелки часов.

— Да куда ты торопишься? Вахта через час...

— Проверить я должен... Ночь. Вахтит первый помощник, он неопытен, новый. А тут еще Сергей...

— Ну что Сергей? Лучший машинист на Волге. Если царская семья поедет, то лучшего не найти.

— Нет, у нас будет ехать свита. Ты знаешь сама какой Сергей с его убеждениями и характером... Налей еще чаю. Да, видишь, я с час назад заглянул в машину— Сергея нет. –Где? Недавно вышел, говорят. В каюту, а он спит! Спит, понимаешь и доверяет машину кочегару— масленщику.

— Да что ты, Леня, ведь у него же помощник.

— Помощник, помощник.. Им верить нельзя. Ну, я побегу, где моя фуражка? Ну... где же? Ах, да я ее в руках держу. Ну всего.

И мелкими шажками Алексей выбежал на палубу, дав ветру метнуться в каюту и подтолкнуть занавески. Быстро взбежал по лестнице. Хлопнул дверью. Повертелся по рубке, подошел к помощнику, ударил его по плечу:

— Ну, как? Вахтишь?

—Как видите, Алексей Петрович.

— А время сколько? Мне не пора?

— Вам еще через сорок минут.

— Знаешь, я уж выспался, ты уж поди, а я остою, все равно немного осталось.

— Да как же Алексей Петрович?

— Ну ладно, ладно, поди, поди отдохни.. Постой, я только сбегаю в машину погляжу, что там. И порывисто мелкими шажками Алексей засеменил из рубки. Пассажиры, матросы, официанты сторонились с дороги. С каждым Алексей здоровался и спрашивал:

— Ну, как живешь? Ну и хорошо — и не ожидая ответа—бежал дальше, а вслед ему неслось добродушно— ласковое:

— Командир идет.

Тяжелый, низкий самолетовский гудок, и пароход описав круг пододвинулся к пристани. Алексей сверху смотрел на знакомый примелькавшийся город. Вверх поднимается набережная. Ее сторожат подстриженные деревья. Грязные, каменные двухэтажные дома тянутся линией и над ними высится сероватая громада соборной колокольни с часами. На пристани и около толпятся пассажиры с грудой мешков и корзин.

А внизу Сергей вглядывался в толпу, отыскивая знакомое лицо товарища Константина. С ним вместе на явку. И вот у перил пристани в боковом проходе он увидел это лицо, угрюмое с опущенными глазами. Щеки обветрены. Невысокий лоб изборожден линиями мелких морщин. Рядом спокойно стояли грузчики, ожидая причала.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

— Ну что у нас не бывало опозданий что ли?—спокойно процедил Сергей—что ты волнуешься.

— Но ты же машинист, Сергей, наш пароход на лучшем счету в обществе. „Самолет“ не опаздывает.

— Плюнь, чепуха. Выедем своевременно.. Вечно ты хлопочешь.

Из люка выглядывала улыбающаяся голова кочегара Васьки. Он ловил обрывки разговора. Снизу его окликнули:

— Чего там, Вась?

— Опять Алексей Петрович ссорится. Запоздаем, говорит.

— Сергей Петрович дело знает не хуже его—ревниво поднялся голос из люка.—Все будет в точности.

— А вот ссорятся, видишь.

Едва Алексей ушел, Сергей обернувшись крикнул:

— Василий, погляди там за машиной. Я на берег. Скоро приду.

Взбежал по лестнице на улицу города. У решетки набережной Константин,

— Наш комитет дает тебе поручение.

— Давай.

Вокруг никого не было, но приближались прохожие.

— Выйдем на середину улицы.

— Нет, лучше пройдемся... Видишь-ли, через несколько минут здесь будет один товарищ и мы его сдадим тебе. В Нижнем встретят люди, которым ты его передашь. Условный пароль...

— Хорошо, через десять минут мы отваливаем. Дали уже второй свисток. Минуты на 2-3 я задержу пароход, но не больше, поторопитесь.

. . . . . .

Человек был укутан в пальто, низко нахлобучена фуражка. Сергей провел его в свою каюту.

Третий свисток.

Быстро звякая шпорами сбежали на пристань околоточный, за ним, придерживая шашки, двое городовых. Сергей вздрогнул и как то сразу крикнул в машину:

— Василий, сюда.

— Есть.

— Вась, мы с тобой читали кое-что, говорили...

— Да?—удивленно взглянул Василий, отирая пот и размазывая сажу по лицу.

— Слушай, видишь фараоны? А у меня один человек зашел случайно.

— Ну,--напрегся Василий.

— Надо, чтобы его не увидели.

— Устроим, Сергей Петрович.

. . . . . .

Отброшены дверцы кожуха, и человек вцепился руками за выступ. Перед глазами огромные плицы колес... и черная вода.

— Держитесь крепче, глаза зажмурьте. Может все обойдется.

Дверцы закрыли. Короткий свисток и человек услышал шум колеса. Плицы мерно оглушительно ударили по воде. Густые брызги сеткой закрыли все. Завертелись, зашлепали плицы. Пальцы намокшие похолодали. Скользит из рук выступ, всем телом прижался человек к стенке кожуха...

. . . . . .

А тройка с нервничающим околоточным перерыла весь трюм, заглянула в каждую каюту. Пассажиры молча сторонились.

— Осталась ваша каюта и машиниста—звякнул шпорами околоточный.

— Пожалуйста,--брезгливо предложил Алексей.

Сергей выкинул последнюю пачку „Правды" в иллюминатор и облегченно вздохнул. В дверь постучали.

Околоточный ползал на коленях и от того его красная шея побагровела и усы как то колюче опустились. Он стряхнул белой перчаткой пыль с колен и разочарованно протянул:

— Кажется все...

— Пора бы кончить,—спокойно бросил Сергей.

— А вы что, молодой человек, беспокоитесь?

— Я ничего, а вот пассажирам неприятность.

— Интересы государства важнее всего—поднял чуть вверх руку околоточный.

. . . . . .

Едва отошли от очередной пристани, Василий и Сергей быстро отвели от кожуха нескольких пассажиров крестьян, открыли дверцы и брызги ударили им в лицо, а человек свалился на их руки. Губы были стиснуты, на лице синева. Пальцы руки так и оставались скрюченными.

В каюте от глотка водки он пришел в себя, быстро переоделся в одежду Сергея и процедил:

— Значит и в Нижнем жди то же.

— Ну там то народу много, проведем.

— Надо быть на-стороже.

. . . . . .

10.

Решетка голубовато сереет вокруг сада военной академии. Как всегда грязными пятнами нелепо торчат два больших двухглавых орла на фронтонах особняка академии, выглядывающего из-за решетки. Даже полосатая караульная будка невозмутимо бросает ломкую тень. Но улица все-таки не та, что прежде. И в воздухе, распространяющем бледный пыльный свет, чувствуется что-то новое, беспокойное. Группа людей идет от столба к столбу по скользко блестящим рельсам. Столбы равнодушно простирают свои узорчатые руки, поддерживая проволоку.

Сзади всех шагает босой с посиневшим от холода лицом человек. Лохмотья, бывшие когда то одеждой, причудливо вздуваются ветром. Он кричит уже сорванным голосом:

— Отряхнем его прах с наших ног...

Нам не надо...

В руке покрытое темными пятнами лезвее шашки подымается и опускается резкими движениями в такт словам.

Впереди идут еще человек пятнадцать, разбросанно, неуклюже. Одеты все по разному. Необычно для этой улицы видеть сразу столько русских сапог, порыжелых штиблет и простых фуражек с козырьками. Еще необычнее видеть на этих людях пулеметные ленты, разнокалиберные винтовки, которые они несут, кто на перевес, кто к низу дулом, кто на плече.

Ближе к Николаевскому вокзалу—цепь огней больших костров. Странны костры на чистенькой улице. Горят шкафы, письменные столы, стулья и бумаги. Бумаги много. Клочки и отдельные листы с штампами „полицейская часть" белеют как чайки над водой. Стекла звенят и сыплются брызгами на булыжник мостовой. С треском ломаются рамы и летят в костры.

Из одного окна торчит тяжелый, резного дуба, обитый кожей диван. Наполовину его протащили в окно, а дальше не стали возиться и он так и висит в воздухе. Кто-то яростно выбрасывает стулья, табуретки, толстые канцелярские книги, пачки бумаг.

А около огней стоят люди, смотрят как языки пламени вкусно охватывают и дорогой уютный массивный письменный стол, простой деревянный табурет, книги, бумаги... Стоят спокойно, некоторые деловито заложив руки за спину. Говорят мало. Кто-нибудь бросит:

— Эх, добра сколько пропадает...

— Да..

У вокзала людно. Фыркают, хрюкают и густо воют грузовики автомобили. Много таких же необычайных людей. Так же русские сапоги, грубые штиблеты, старые засаленные кепки, фуражки защитного цвета, некоторые без козырька с кокардами. Везде белые пулеметные ленты, с кружочками нанизанных на них патронов. И на-крест обвязаны ленты и вокруг пояса, и просто извиваются как змеи в руках. Не стройно торчат дула винтовок, берданок, карабинов. Некоторые со штыками. Шумно говорят, кричат, колышатся туда-сюда. Бегают. Из общего шума доносятся обрывки слов:

.. — Пулемет тащи сюда...

— Товарищи! У лавры пристава поймали...

Здесь в этой толпе Сергей увидел ее. На ней тоже лента с кружочками патронов.

В руке чернеет дуло револьвера. На плече, сильно его оттягивая, висит тяжелая берданка. Особенно как-то выделялась эта бледная девушка с серыми зеленоватыми глазами.

Ее звонкий голос действует резко на тех, к кому она обращается. Может быть потому, что в этой толпе женщин мало. А может быть и потому, что в нем звучит непонятное хладнокровие, властность и жизненная энергия, бьющая широкой струей.

— Товарищи!.. К лавре нужна помощь... — кричит какой-то субъект в темном пальто и панаме. И возбужденно машет блестящей шашкой.

Она и еще человек пятнадцать садятся в отполированный небольшой автомобиль... В его каретке сладкий и душный запах каких то духов.

Шофер обернулся:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ КРЫЛОВОЙ

— Я не поеду к лавре. На кой чорт.

— Молчи, иначе и до лавры не доедешь.

Сергей пристально вглядывался в глаза этой девушки Ему показалось, что отвечая на его взгляд, она чуть улыбнулась. Автомобиль задрожал. На оставшихся пыхнула синяя струя дыма. Мимо — красные здания складов, мелькают дома. Вот и белые каменные ворота лавры.

И неожиданно, как большая швейная машина, начал чавкать пулемет. Потом разрозненные обрывки выстрелов. Тоненько свистнула пуля.

Сердце заколотилось. Револьвер за пояс и маленькие руки неумело приставляют приклад тяжелой берданки к плечу. Вдруг согнал с лица кровь резкий крик:

— Товарищи, назад. Здесь засада, большая... Фараоны — и крик сорвался.

— Крути назад, чортова голова, не сильно ударил рукояткой револьвера по спине шофера Сергей. Пули заметались быстрее.

— Эк их, прорвало — буркнул товарищ в студенческой тужурке.

Топот лошадиных копыт и прямо к автомобилю, который медленно заворачивал между сваленным фонарем и каким-то бревном, подплыла лошадиная морда.

Она с силой дернула спуск. Берданка охнула.

Ее зеленоватые глаза увидели, как покачнулся черный с красными кантами мундир и страшно бросилось белое пятно мозга, окруженное красным на его голове. Только секунда и... затем тяжелый удар по спине.

— Ничего, товарищ. Это только отдача. Вы наверное не стреляли. Да у вас берданка. Здорово вы свалили этого чорта.

Зеленоватые глаза растерянно вглядывались в Сергея. Он, поддерживая ее, поднял полуупавшую берданку. Автомобиль фыркнул и снова плавно закачалась каретка. Пули уже не свистели. Наконец, сверкнули огни вокзала...

. . . . . .

12

Алексей стряхнул сор, приставший к форменному кителю и, вздохнув, вновь спустился по трапу. Прежде чем нагнуться к поленнице за новой охапкой дров, он обернулся к спокойно наблюдавшим матросам:

— Товарищи, давайте же. Надо дров...

После длительного молчания и переглядываний — один цыкнул деловито сквозь зубы слюну, а другой махнув рукой, неспеша ушел с палубы. Группа продолжала смотреть в воду.

— Успеем, времени хватит.

— И то, спешить некуда.

И чей-то голос тихо произнес:

— Носи сам. Будет. И матрос — человек.

— Ну это ты зря — повышенно откликнулся матрос Мурсейка. Алексей Петрович капитан, что надо. А ты известный лодырь.

— Ну, я ведь не напрашиваюсь. Носи, ежели хочешь.

— И понесу. Думаешь революция, так барами стали. Утрясется, погоди, работать будешь. Черти... Мурсейка быстро спустился с трапа к поленнице.

За ним двинулся еще один молодой матрос. Он поднимая охапку дров бросил:

— Судового делегата бы...

— Э, чорта ли в твоем делегате. Ему некогда.

А Алексей вновь набирал охапку дров. Дойдя до люка в машинное отделение, он оглянулся как-то воровато вокруг и быстро взбежал по боковой лестнице во второй класс. Оттуда коридором в салон первого класса. Новая стопка дров заслонила шредеровский пианино и аккуратно сложенную мягкую мебель парохода. Алексей гордо взглянул на дрова, погладил полированное черное дерево пианино, похлопал по мягкой мебели.

— Придут дни и снова пойдут пароходы к Каспию с пассажирами...

. . . . . .

В салон первого класса нельзя войти. Даже коридор завален дровами. Едущие во множестве, неизвестно куда люди, видя дрова, отходили от салона.

Алексей утром обегал каюты, подсчитывал битые стекла, ободранную мебель. Его каюта завалена вещами. Картины висели одна на другой. Бронзовая утварь рассована всюду. Ободранные бархат и кожа мебели лежали связанные пачками.

. . . . . .

— Под Ярославлем расстреляли „Симеона Гордого" — наклонился один из помощников к Алексею.

— Как?

— Ну как, Алексей Петрович? Пулеметы, вот. И белые и красные с двух сторон. А ему надо было развернуться у моста.

— Капитан убит. Судьба. Обложился пробковыми поясами. Только отверстие для глаз. И в него пуля. Так, между глаз, в лоб.

Алексей молча ушел в каюту. Жена взглянула на него и хотела выйти, но потом остановилась:

— Ты, что, Леня?

— Да так. Тяжело, Ира. Слышала о „Симеоне Гордом“?

— Слышала. Что же, видимо, так нужно. Революция требует жертв.

— Да это в книгах хорошо.

— Нет, Леня, это не только в книгах. Сама жизнь говорит.

Помолчали.

— Эх, чорт—выругался Алексей. Прости я нервничаю. Дрова, понимаешь, не хотят носить.

— Теперь их царство. Но ты сам зачем надрываешься? Капитан ведь, а бегает, как последний вахтенный. Смотри на других пароходах небось и товарищи поворачиваются.

— Не могу я. Расписание все-таки есть, хоть и большевистское. Пароход должен точно отходить. Ведь до чего дошли? Дровами топим, нефти нет... Ведь...

— Ну, брось, опять начал свое. Подожди, вернется еще..

В дверь постучали. Ирина взглянула. Вошел делегат Иванов. Это был низкорослый матрос; обветренное, красное лицо, веснушки и веселый взгляд безцветных глаз. Окающим говорком он начал:

— Стало быть, Алексей Петрович. вам доклад надо на собрании.

— Зачем, товарищ Иванов? Лишняя трата времени. Вы бы лучше организовали субботник топливный.

— Стало быть, нужно доклад послушать. Контроль, поэтому.

—Ну, хорошо. Но вы мне, значит, не верите?

— Нет, зачем так, Алексей Петрович. Порядок требует. Завтра в салоне второго класса. Так, как?

— Хорошо.

. . . . . .

. . . . . .

— ... на одной картошке туго приходится.

— Товарищи, да я же сам из шелухи котлеты делаю

— Мало ли что. Вон на других пароходах капитаны не так действуют.

— А потом—поднялся высокий матрос с широким лбом и прищуренным взглядом—Почему в первом классе дрова? А? Я спрашиваю почему?

Разгоряченное собрание притихло, а высокий обвел всех взглядом.

— Я скажу. Он охраняет буржуйские штучки. Диванчики, рояли...

— Вынести дрова.

— Загнать вещи.

— К чортовой матери...

Алексей побледнел, стиснул зубы и спокойно сказал:

— Стойте, дайте скажу.

— Не надо.

— Знаем, слыхали.

— Да, тише вы, зимогоры, дайте высказаться человеку—озлился делегат.

— Пусть, скажет—поддержал Мурсейка.

— Ну, ладно,—примирительно сказал высокий—послушаем.

— Ведь рабочему государству речной флот будет нужен? Отвечайте.

— Ну будет—буркнуло несколько голосов.

— Да, будет—резко прервал тишину кто-то:—Вон о концессии говорят—мы не хозяева.

Снова метнулся высокий, сильно ударив кулаком по столу, он кинул в гущу собрания:

— Товарищи...

Смолкли.

— Я говорю не дадим ни суденышка в концессию. Своими руками выносим флот. Наше все. Жизнь всадили в машины, в Волгу...

— Верно..

— Надо с другими пароходами, требовать у правительства оставить флот нашим.

— Верно.·,

Алексей вмешался. Бледность потонула в легкой краске щек, глаза загорелись. Попрежнему, по молодому звонко, как когда то на лесных маевках под Нижним он крикнул:

— Товарищи, вот. Ленину надо об этом писать. Не можем в концессию отдать. Я говорю: у нас есть силы самим управлять флотом. А дрова ...А дрова для того, чтобы не трогали вещи. Ведь и рабочему классу мы должны дать хорошие вещи. Почему он не имеет права на это?

— Правильно — поддержали голоса.

— Тише, слушайте — зашипели другие.

— А вещи рвут. Бьют каюты. Хозяин — это вы — обвел Алексей рукой вокруг себя: — Хозяин должен требовать чистоты, целости вещей, сохранности. И пианино стоит дорого. И оно нужно.

— Пароход тот же ребенок — ласково раздумчиво перебил его вдруг высокий матрос — уход любит.

— А с чем вы приедете к тов. Ленину? С разбитыми, ободранными каютами, поломанными инструментами... Вон дров не хотите принесть — уже нападал Алексей — пароход не вовремя уходит. Ясно, что Ленин скажет: не

содержите в порядке, не можете быть хозяевами. Вот и концессия.

— Это, верно.

— Правильно говорит Алексей Петрович.

— Вот, что товарищ капитан — сурово произнес делегат — мы хозяева то, хозяева, да больно радые, что дорвались до хорошей жизни.

— Братишки — вдруг обернулся он к собранию. Он капитан, спец. Рука нам твердая нужна. А уж порядок сделаем. Предлагаю субботник по чистке парохода и дровам. Кто за?.. Все, стало быть...

— А насчет концессии так и запишем: не давать.

— Не дадим — откликнулись как то разом все.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

На палубе Алексей столкнулся с Сергеем.

— Что тут у вас?

— Собрание было. Мой доклад слушали.

— Ну и что?

— Да видишь ли, народ хороший, что еще сказать. Думаю, что порядок будет.

— О концессии был разговор?

— Был. Решили не давать и просить Ленина об этом.

— А где судовой делегат?

— Он еще толкует там с матросами. Ну, а ты как?

— Мне некогда, после поговорим. Зайду. Пойду к братве.

И Сергей круто повернувшись исчез в проходе второго класса.

. . . . . .

Волга так же, как и всегда ласково плескалась у бортов парохода, отражая его розовый остов, дробя это отражение в тысячи мельчайших осколков.

17

Сильными толчками бьется сердце, захватывает дух. Подъем невысокий, но сердце уже сдает, отсчитывая ушедшие годы. На вершине зеленеющей сопки одна береза белеет стволом.

Взгляд ловит бегущие облачные обрывки на чуть зеленоватом небе. Волга изогнутым лезвием остро поблескивает, плескаясь в берегах. Белея крыльями, противно и тонко чивикая, быстро взлетают чайки.

Изредка они снижаются, задевают концом крыла воду, и вода улыбается под птичьей лаской. И снова распластываются в воздухе чайки.

Хорошо стоять так под ветерком на сопке и утишать стучащее сердце. И мысли чайками мелькают в голове. Печалят, волнуют и иногда обжигают радостью.

— Что теперь? —Поймал Сергей эти два слова. Вздрогнул внутренней дрожью, обернулся и обнял взглядом затон.

— Что теперь? Затон—твердо произнес Сергей. И начал шарить глазами по берегу.

Вот он, затон. Зарубинский. Пароходы Зарубина по Каме бегали до Перми. Отдыхали, чинились они в этом затоне.

Маленький залив, окруженный болотцем со спутанной осокой, как воротником зеленого кружева. Берег покатый. Прислонились к откосу сараюшки, дома. Слесарная и лесопилка. Покосились они и почернели от времени.

Сторожем у затона — сопка зеленая с белой тонкой березой. Спит береза, дремотно шелестя обвислыми листьями. И лес, звенящей тишиной опутанный, смотрит снизу сопки.

— Здесь до сопки развернуть бы затон. Лес отодвинуть, залив удлинить, корпуса каменные под слесарно-токарную, литейную мастерские, здесь бы жилье...

Вырастает в голове новый затон. Подталкивает сердце к новым ударам. Последний раз окинул унылую сопку взглядом, скользнул по лесу, по сараюшкам зарубинским. Будто что растаяло, потеплело и уже смеясь спросил себя громко Сергей:

— А теперь что?

— Затон — крикнул он и эхо в лесу отдалось звонко и радостно: — он... он...

Быстро сбежал с сопки и твердыми шагами смял песок, траву.

Скрип и грохот звонко отдаются в берегах. Тяжело и грузно выпрыгивают из воды, качаются ковши полные ила, грязи. Струйками стекает вода, голубея на солнце Скрежещет, грохочет черпалка, будто злобно грызет дно и берег. Вьюном вертится буксир-шаландер, только свистки дробятся эхом в лесу.

Сергей отсчитывает минуты на берегу. Жадно следит за землечерпалкой и примеряет на глаз. Еще кусок земли залит водой, еще. Шире, глубже становится залив. Отступает берег. А в голове горят слова очередной бумажки из управления госпароходства: „... объявляем выговор за задержку землечерпалки № 2. Категорически требуем направить ее в распоряжение затона в...“

Спит береза на сопке. Взглянет Сергей, усмехнется. „Не будешь там качаться. Вышку на сопку. Категорически требуют? Ну и чорт меня возьми. Если она не разгрызет берег, не уедет".

Медленно кладутся кирпичи корпусов, медленно ползут подводы с цементом, известью, машинами.

Звякают удары топоров, валят сосны, ели, скашивают молодняк, расчищают дорогу затону.

Не раз на дню фыркает моторка, скользя по синевато-серой Волге. Вырастает зеленеющей горой Нижний. Встречает он ласкающими пароходными свистками, городским гамом и сутолокой.

— Срывается план строительства — грубовато тяжело роняет слова Сергей, постукивая пальцем по письменному столу.

Высокий, сухой, давно знакомый, с заснеженными висками, инженер едва заметно усмехается.

— Это вам, батенька, не Америка. Нельзя же в полгода, год развернуть затон.

— Почему нельзя? Просто нет поворотливости. Циркуляром живем.

— Ну, хорошо. Бросьте волноваться. И хочется вам. В свое время все сделается. Тише едешь...

Инженер отвел взгляд от Сергея.

— Ну, я не этого от вас жду—резко поднялся Сергей и сухо добавил:

— Задержку устраните. Я буду драться за каждую бочку цемента, за каждый рубль. А землечерпалка мне нужна еще...

— Там видно будет, Сергей Петрович. Бросьте хму-

риться. А все-таки сомнительно с затоном... Что за упрямство. Виданные ли темпы? Землечерпалку немедленно отправьте куда указываем. Мы вынуждены будем...

На пристанях в людской бестолковой куче Сергея останавливали на каждом шагу матросы пароходов, капитаны. Все улыбчиво тянулись к нему, трясли руку.

— Строите, Сергей Петрович? Пустое затеяли. Далеко ли Сормово. Зарубинская дыра не станет затоном. Что там: лес и лужа.

— Не только это — отговаривался Сергей и поспешно говорил: Вы лучше скажите, не слышали ли на низу, где свободного фрезерного станка, завалящего какого?

— Да нет... Хотя, постойте, говорили, под Самарой на одном консервированном заводе есть что-то.

И тут же заключался договор. Для старого друга, для лучшего волжского машиниста Сергея добывали, привозили все, и рухлядь и хорошее.

Любовно оглядывал все это Сергей, прикидывал в уме. Бежали дни и беспризорно валявшиеся где-нибудь станки — в затоне начинали вертеться, звенеть.

„Сормово берет заказ, но исполнение только через шесть месяцев — зимой! Таким образом „Карл Либкнехт" выходит из строя. Сменить вал мы не имеем возможности. Лицензии не получить, а лишь заграница может дать новый вал к машине „Карла Либкнехта".

Сергей еще раз вчитался в слова служебной записки управляющего Госпароходством.

— Общий ремонт, пока Сормово примет заказ... — повторил он. — Вышел из строя? Это еще поглядим.

Разобрана машина „Карла Либкнехта". Потухшие

топки осиротили пароход. Пустые палубы наводили тоску. Сергей часто взглядывал на пароход и что-то вздрагивало внутри.

В новой, недавно пущенной механической мастерской Сергей и группа рабочих долго и внимательно разглядывали треснувший вал могучей машины. Гладили руками, шлифованные бока вала. Туго и напряженно искали выхода мыслям. Кроме бессвязных неясных фраз ничего не выливалось.

— Не выйдет, Сергей Петрович, — говорил старик токарь, — угробим вал совсем. Надо ждать Сормова.

— Не выйдет? А я говорю попробовать надо, — испытующе оглядывал всех молодой сварщик — комсомолец.

— Постойте, товарищи. Толком надо обдумать. Как бы чего не настряпать, — говорили другие рабочие.

Сергей слушал, пристально вглядывался в израненный вал.

По механической мастерской шли разговоры:

— Чтобы заграничный вал сработать у нас?.. Выдумали.

— Чудаки.

— Погоди ты, сам чудак. Только заграница и может. Не пробовали мы, вот и не можем.

— Никто и не берется сработать новый вал. Старый надо заштопать.

— Ведь какой пароходище пропадает на целую навигацию. А все оттого, что боимся.

— Инженеры говорят — нельзя. Спецам верить нужно.

— Это верно, но вал всетаки можно сделать.

Несколько дней бродили в затоне разговоры во всех углах о „Карле Либкнехте". В свободный час шли к нему на берег, расширившегося залива затона, смотрели.

Сергей решил рискнуть. Несколько бессонных ночей, тысячи страниц книг, напоминавших учебу молодых лет и злость от бессилия довели его до решения.

И вот, в зеленых очках, сгрудились над укрепленным недвижно валом группа лучших рабочих и Сергей. С яростным шипением забегал ослепляющий брызжущий сноп белого света.

Началась сварка...

Через неделю „Карл Либкнехт" после трех гулких отвальных свистков, горделиво вздрагивая, медленно выплыл из затона.

В газете была заметка с заголовком: „Обойдемся без заграницы". Она была маленькая и затонские рабочие знали ее наизусть.

Инженер с заснеженными висками, выпрыгнув из моторки, еще раз окинул взглядом затон. Приземистые кирпичные корпуса механического и токарного цехов, электростанция с пыхтящим дизелем, неоконченная литейная, улица из новых двухъэтажных жилых домов, хозяйственные здания, далеко раздвинувшие лес и оголившие сопку, создавали впечатление городка.

В стороне от затона на берегу Волги вытянулись на ровномерно расставленных поленницах четыре судна. Вокруг железной нефтеналивной баржи копошились десятки рабочих. Резкий звенящий стук доносился к затону.

Инженер протянул руку Сергею и не взглянув ему в лицо, вполголоса сказал:

— Целый город. Когда же это?

Сергей улыбнулся:

— А что вы говорили? Вот темпы, но еще не те, которые нам нужны. Вот затон. Будет и сухой док — и он рукой обвел по всему затону, вглядываясь в каждую, так хорошо знакомую частицу стройки.

— Это только начало. Мы сделали очень мало — и круто повернувшись Сергей пошел к затону.

Н. СИБИРЯКОВ

С Т И Х И

МОЯ ПОХОДНАЯ

В нашей стране, что упорством богата,
Плещется песенный рой.
Мне по наследству от старшего брата
Шлем перешел со звездой.
Часто о сыне вздыхает и плачет
Старая мама теперь.
Мне же к зеленому шлему в придачу
Брат передал и шинель.
Дали румяные звоном взрывая,
Мечутся песни, отваги полны,
Может быть завтра, на фронт собираясь,
Шлем я сниму со стены.
Полнятся головы хмелем отваги —
Рвись моя песня вперед,
Может быть завтра за этим оврагом
Будет стучать пулемет.
Рвись, моя песня, крылатою птицей,
Лейся в деревню, буди города,
Алые флаги октябрьских позиций —
Мы не сдадим никогда.

ПРОСТАЯ БАЛЛАДА

Был низок неба
Черный грот,
И тучи
Уходили за лес.
О том,
Как вздыбился завод,
Я вспомнил,
Сидя на вокзале...
  Звени, звени,
Как в сенокос коса,
Звени и пой
Неладная баллада

Как вздыбила
Недавно корпуса
Одна
Ударная
Бригада...
  Заката лег
Вишневый сок
На кружевом сплетенной
Раме.
Шуршал ремнем,
Стонал станок
О недовыработанной программе.

Давила тяжесть
На плечо,
И хмури тень
Была на лицах,
Тогда
За Петькою, ткачем,
В бригаду
    Записались
        Тридцать,..
И новый темп
Пролился в цех.
Росла

Станков крутая озорь
Как будто
Ночи черный мех
Перед летящим
Паровозом...
. . . . . .

В соседнем цехе
Мастер старый
Сказал тогда
Простую речь:
„Растут прогулы,
    Брак,
        Угары,
И надо,
Братцы, подналечь!“
. . . . . .

А поезд мчался
Воздух рвал
И в землю врезанные
Резал шпалы —
Пока
Огней блестящий карнавал
Не вырос
Над вокзалом алым.
. . . . . .

Ссйчас вот
Рельсы
Снова задрожат,
И поезд
Дали рвать не перестанет,
Как не уснут
В ударных этажах
На перевыполненном
Промфинплане.

В. МАЯКОВСКОМУ

Выстрел
Очень сухой
И очень обыкновенный
Переломил тишину.
Вздулись
И почернели вены
На лбу.
Не упали
Витрин веки,
Не спутались
Трамвайных путей
Чертежи,
Они не знали еще
О человеке,
Который
Перестал жить.
Попрежнему
Шагами
Звенят панели,
Попрежнему улица
Выкрики нижет.
Только буквы
Сжались и почернели
На страницах „партийных книжек".
Остановите,
Трамваи, бег,
Взвизгивающий и громоздкий.
Умер
Не просто человек —
Умер
Владимир Маяковский.

МОИ ПРИЯТЕЛЬ

За плечами вокзальных вышек,
Купающихся в закате —
В домике
С голубою крышей
У меня
Остался приятель.
Ни одной,
Самой маленькой тени
Не лежит
Меж его бровей.
Он умеет говорить:
„Ленин“
И рисовать мавзолей,

И совсем не умеет плакать
Этот
Мой новый знакомый
В галстуке
Из цветущего мака.
Сынишка секретаря райкома.
Нас, больших
(больших, ну, как двери)
Уложил он
На обе лопатки,
Доказав,
Что трактор в артели
„Рентабельнее лошадки".
А потом
Расстроился очень,
С трудом
Проглотивши слезы,
Что „приезжий дядя
Не хочет
Организовывать с ним
Колхозы"...

Мой новый приятель —
Серега —
Барахлится,
Наверно, у книжек
И мне нынче
Грустно немного,
Что я его не вижу.

НА ДЕМОНСТРАЦИИ

Не видят поэты
В мае,
Захлебнувшись
Словесной вязью,
Что сегодня, лучи ломая,
Солнце
Смешалось
С грязью.
В улицы
Плещут
Звоны антенны.
Не сдержать у ног бег.
Вот он:
Очень обыкновенный,
И хмурый немного
Человек.

Эй ты,
Сквер, замаянный маем,
Одеколоном и вырезом щей,
Расступись,
В поклоне ломая
Верхушки
Своих
Тополей.
Ветер нынче
Недаром пляшет
У знамен,
Кровоточащихся ран.
Вот он:
Слесарь завода нашего,
Перевыполнившего
Промфинплан.
Эй ты, площадь,
В оранжевый май
Брыжжи песней
Бодрой и частой,
Площадь,
Иди встречай
Ударника-энтузиаста!

У ВОРОТ

Зазвенела
В ушах тишина.
Стлалась по панели
Пыль.
На углу,
Тяжело дыша,
Вздрогнув,
Застыл автомобиль.
Два человека
Метнулись через пылью опутанную панель...
Вздрогнули и покачнулись
Ворота:
Скорее, скорее, скорей...
Шелестящая тишина —
На дворе
Упруга, как автомобильная шина.
В цех,
Скорее, скорее, скорей: —
Человека
Забрало в машину...
Хмур милиционер
И черна шинель.
Два человека в халатах
Третьего пронесли
Через панель,
Забрызганную закатом...
Зеленоватый свет
На лице...
Впалые щеки лижет
У человека,
Пришедшего пьяным в цех,
У человека,
Что так
Неподвижен.

Н. СИБИРЯКОВ

АРИФМЕТИКА

Рассказ

СОЛНЦЕ сочилось через стекло снопом серебристо-синеватой пыли. Оранжевые пятна легли на вороха папиросной бумаги, на темно-красный пол машинописного бюро и дробились золотистыми искрами на шпалерах.

Колчин втягивал в плечи волосатую шею и щурил глаза.

Левый носок сапога нахально оскалил деревянные зубы, и маленьким язычком вылезала из него прелая, темнобурая портянка.

Василий прижимал порванный носок к ножке стола, но забывшись, переступал с ноги на ногу, ронял взгляд на худой сапог, на заплатанные колени, злился и хмуро диктовал:

... В результате на станции образовалась пробка, почему порожнюю тару...

Алевтина Петровна стучала на машинке высоко вскидывая тонкие розовые пальчики и, чуть повернув голову к окну, улыбалась углами губ.

Колчин был уверен, что смеется она именно над ним, Василием Колчиным, который неделю тому назад стоял в посадном цехе ф-ки обуви, напружив руки, „сажал" черные лоскутки кожи на „ножку".

Смеется над его хриплым голосом, большими шершавыми руками и новой синей рубашкой.

... Немедленно перебросить на склад, чтобы таковую немедленно ликвидировать ...

Колчин не занимался своей наружностью, и мысли такой в его кудлатую голову не приходило, а вот сейчас посмотрев на чистое, красивое платье машинистки, на ее розовые пальцы и лакированные туфельки, он почувствовал себя неловко.

Только сейчас заметил он грязь въевшуюся в ладони, почувствовал запах кожи.

В комнате до рези в глазах светло. По спине ползет липкий, зудящий тело пот.

Уши щекочет непривычная дробь машинки. Словно по большому листу жести прыгает крупный град.

Подруга Алевтины Петровны, Ниночка Горячкина, склонившись над рукописью, изредка откидывает прядь волос и морщится: от ног Колчина пахнет кожей и прелыми носками.

— Все —поворачивается Алевтина Петровна к Колчину и углы губ ее попрежнему вздрагивают.

— Подпись: Заведующий хозотделом Колчин...

Валик машинки с хрустом выбросил отпечатанную бумажку.

— Пожалуйста...

Колчин протянул руку так, чтоб не видно было худой подкладки на рукаве, взял бумажку и вышел.

Разбитое стекло двери не перестало еще дребезжать от тяжелых шагов, а Алевтина Петровна, откинувшись на стуле, громко захохотала:

Ха, ха, ха...

— Что ты?—подняла брови Ниночка.

— Ха, ха, ха, чтобы таковую немедленно ликвидировать... ха, ха ха... ну и грамотей...

— Тсс.. подняла палец Ниночка.

— Тише.

Вошедшего секретаря встретила мечущаяся дробь машинок. Только плечи Алевтины Петровны слегка вздрагивали.

В хозотделе было прохладно и сумрачно. Четыре стола. Низко согнулись над бумагами четыре сутуловатых человечка.

Никто не поднял головы, никто не сказал ни слова, но в неподвижном наклоне спин, в глухом покашливании чудилась Колчину неприязнь и враждебность.

Сел. Разложил материалы экономкомиссии. Побежали нескладными шеренгами цифры, а из цифр встали прожитые на новом месте дни.

Выдвинули его председателем экономкомиссии так:

Данилов, секретарь ячейки, вызвал Василия к себе, усадил на стул и сказал:

— Знаешь, Колчин, ты на производстве вел экономработу. У нас на экономучастке людей нет. Думаем мы тебя на это дело посадить... А?

— Что ты, шутишь что ли. Три дня проработал и вот... Я и работы то не знаю совсем...

— Ты выдвиженец, надо, брат, биться за оздоровление аппарата...

Данилов не говорил, а „внушал", многозначительно подняв палец, белые брови его сжимались у переносья и топорщились вверх.

Колчин согласился тогда, а вот сейчас маленькая трещинка сомнения расколола сознание:

— Чорт те што, как бы не начудить... Арифметика-то больно мудреная.

Подумал так и глазами снова в бумагу:

„В связи с ростом капитального строительства, организацией пригородного сельхозкомбината, рост административных расходов против сметы на 9 тыс. является вполне нормальным, поэтому правление рабочего кооператива просит РКИ о расширении сметы на второе полугодие на указанную сумму"...

Колчин отложил бумаги в сторону, повернулся к секретарю:

— Тов. Снигирев, позвони, пожалуйста Лебедеву, чтоб сейчас же пришел сюда, и пусть захватит с собой материалы об административных расходах...

— Хорошо.

Снигирев привстал, взглянул на часы, нерешительно переступил с ноги на ногу и, мотнув головой, сел снова.

Часы уронили двенадцать ударов, медленно и четко.

Четыре спины разогнулись. Выдвинулись, словно по команде, четыре ящика: время завтракать.

Колчин нетерпеливо ерзнул на стуле. Крякнул.

Снигирев, скосив левый глаз на газету, неторопливо сосал чай.

Василий, взъерошив волосы, вскочил и вышел. Чертыхнулся за дверью:

— Сволочи...

На краешек стола облокотился Лебедев так бережно словно это был не стол, а стеклянная витрина. Провел бескровной рукой, усеянной веснушками, по сальным волосам и вкрадчиво сказал:

— Василь Сергеич, вот материалы бригады, никак раньше не могли сделать... Николай Иванович занят были...

— Ага.

— Вот посмотрите, а я побегу, знаете. Меня там, в расчетном столе, народ дожидается.

— Вы это на бригаде то обсудили?

— Как же, как же: Николай Иванович нам пояснили все...

— А сами вы проверили?

— Да, вот вы прочтите, тут все указано.

Колчин смотрел на узкий лоб Лебедева, на тусклые впадины глаз и, кусая ноготь мизинца, соображал:

— Этот Николай Иванович кому хошь голову скрутит. Гусь...

Всегда спокойный, флегматичный даже, Лебедев нервничал:

— Так я пойду, Василь Сергеич. Некогда мне уж очень

— Ладно—мотнул головой Василий и уткнулся в бумаги.

На черных листах не было и десятка простых, понятных слов. Черная цифровая вязь протянулась поперек листа, узкой ленточкой упала вдоль.

Часы пробили четыре. Колчин отмахнулся от назойливого шарканья ног, хлопанья ящиков, повеселевших голосов сотрудников, кончивших „трудовой“ день.

Глаза Василия стыли на неподвижных строчках выводов:

„Поэтому бригада считает, что правление правильно и своевременно возбудило ходатайство перед РКИ об увеличении сметы на второе полугодие"...

— Чоррт—двинул локтем Василий счеты—закружили...

В комнате повисли синеватые сумерки, тускло поблескивали чернильницы на зеленом сукне столов.

Колчин встал, прошелся по комнате, потом сел и, подперев голову, уставился угрюмыми черными зрачками в пол.

Снова поплыли от часов мерной, медленной медью удары.

Два раза уборщица Таня, женщина косматая, злобная и худая, открывала дверь и захлопывала снова.

Колчин не шевелился.

На третий раз не стерпела Таня:

— Что-ж подметаться-то можно аль нет? До ночи я сидеть не буду...

Молчание.

Переспросила:—Можно, говорю, что-ли?

И снова не получив ответа захлопнула дверь.

Утром Василий вызвал Артемьева к себе. Развалившись на стуле, тот склонил голову на бок.

— Вот что товарищ Артемьев, у вас выведен перерасход девять тысяч, против сметы так?

— То есть, не у меня выведен, а выведен вашей бригадой...

— Да. Но перерасход то девять тысяч или нет?

Сегодня утром рассказывал Колчину Бухарев, член бюро партячейки, как ходил Артемьев из угла в угол в плановом отделе и диктовал эти выводы Лебедеву, а тот,

склонив голову, старательно строчил красивые, круглые буквы.

Артемьев почесал задумчиво небритую щеку карандашом.

— Да, примерно, около девяти тысяч.

— Погодите, отчего же у меня получается шестнадцать... Я проверил по первоначальным документам сегодня...

Глаза Артемьева прищурились и разбежались в разные углы.

— Гм...

Колчин сжимая ручку кресла, склонился вперед и напряженно ждал. Глаза от бессонной ночи были красны и веки слегка припухли.

— Ну?

Николай Иванович хрипло уронил:

— Видите: тут некоторых работников мы провели по другим статьям, вот, например, секретаря общего отдела по складу...

— Почему?

Атемьев пожал плечами:

— Председатель просил так сделать...

— Да это и лучше, знаете. Иначе РКИ не утвердила бы такой штат.

— Ах, вот что. А почему же бригада не указала на это?

— Это уж надо вам у Лебедева справиться, я им все материалы представил...

Колчинская кудлатая голова опускалась ниже и ниже, а брови краями лезли вверх.

— Мне можно итти?

— Минуточку. Интересно, почему же вы не рассказали все это бригаде.

Щеки у Артемьева побагровели и голос упал ниже:

— Ну, знаете, не могу я работать за все бригады. Я тут решительно не при чем. Я вносил предложение, чтобы экономкомиссия согласилась со сметой расходов. Так нет, затеяли бригады...

Колчин настаивал на организации бригады сам. И сейчас мысль, что бригаду запутал этот самоуверенный, увертливый, словно угорь, человек—взбесила Василия:

— Товарищ Артемьев, штат раздут вдвое против сметы. Махинации с разнесением расходов...

— Товарищ Колчин—поднялся Николай Иванович—я, знаете, допросы считаю совершенно неуместными, ваши бригады бог знает что найдут, не могу я за них отвечать...

— Чорт возьми—вскочил Колчин.

Четыре головы, словно по команде, повернулись. Снигирев облокотился на спинку стула и глаза его загорелись любопытством.

— Интересно, чем это кончится—говорили глаза.

Колчин сообразил, что криком здесь не возьмешь, что делает он вовсе не то, что надо, что разговоры и сплетни вспыхнут сегодня-же. Скользнул взглядом по лицу секретаря, по спокойной, невозмутимой фигуре Артемьева и разозлился еще больше:

— „Скоро как над дураком начнут надо мной издеваться: все равно, мол, не поймет ничего. Нет, врешь. Сдохну, а пойму“.

Грохнул по столу кулаком:

— Эх, вы!

И нахлобучив кепку, выскочил из комнаты.

Только к концу дня успокоился Василий. Лишь руки слегка вздрагивали, да дергался угол рта.

Домой возвращались с Бухаревым. Серое небо сеяло дождь.

— У меня, брат, центр мышления сдвинулся—потирая морщинистый лоб, буркнул Василий на вопрос Бухарева—„как дела?"

— Вот она мне где, ихняя арифметика—постучал по лбу.

А,—махнул рукой Бухарев,—я говорил уж Данилову, математика тут простая: под суд отдавать нужно.

— Ну?

— Знаешь Данилова: нельзя, да погодить надо...

Колчин скрипнул зубами:

— У... работнички у нас в аппарате: идут словно сытая вошь по брюху ползает.

В раскрытое окно председательского кабинета сыпалась дробь грохочущих по камням колес. Закат ломался о красное сукно письменного стола и на лица ложился малиновыми бликами.

Члены правления заседали с трех часов, в комнате было накурено и синие клубы табачного дыма лезли длинными языками к окну.

— Товарищ Колчин увлекся экономической работой— констатировал председатель правления Еремин, постукивая голубым карандашиком по столу.

Сказал. Минутку подумал и добавил:

— Увлекся, пожалуй, в ущерб своей основной работе...

Углы губ у Артемьева дернулись кривой улыбкой. Главный бухгалтер скосил глаз в его сторону и поднял бровь.

Василий не выдержал:

— Дайте слово...

— Мы не будем делать товарищу каких-либо взысканий, конечно,—продолжал Еремин, ровным, чуть хриплым голосом, опустив подбородок на грудь, от чего подбородков стало уж не один, а два-три...

Колчину казалось, что их, этих подбородков выросло три-четыре, что в кабинете очень душно... Золотистая люстра над столом слегка вздрагивала.

— Дайте-же слово.

— Товарищи, будем еще говорить или ясно?

Члены правления задвигались, заволновались, вспыхнули голоса:

— Довольно.

— Чего там, пустое дело...

— Дайте человеку сказать...

— Ясно, ясно.

Еремин поднял голову, посмотрел в сторону Артемьева и добавил:

— Но мы предупредим товарища Колчина о более внимательном отношении к своим обязанностям.

— Позвольте—поднял руку бухгалтер—я, конечно, не член правления, но мне думается, что распоряжение товарища Колчина, данное им складу...

Бухгалтер не торопясь выкладывал слово за словом. Говорил и любовался своим низко-урчащим голосом, круглыми вескими словами. Казалось перебрасывает он их любовно с руки на руку словно круглые цветные камешки.

— Глупости—вскочил Бухарев—пришивать человеку за плевую ошибку...

— Товарищи,—поморщился председатель—вопрос ясен. Кто поддерживает мое предложение прошу поднять руки.

— Так. Принимается. Переходим к последнему вопросу...

Колчин сидел, отвернувшись к окну. Крутые бугры на щеках то вздувались, то падали, а рука теребила алую бахрому сукна.

Вороная кобыла, блестя вычищенными боками, выгибала длинную шею, терлась головой о чугунную колонну и скребла копытами камень.

Дядя Миша, кооперативный извозчик, в синем полушубке и валенках топтался у пролетки.

Василий поставил ногу на крыло пролетки.

— В исполком...

Дядя Миша повернулся и бросил через плечо:

— Так что секретарь сказывал, чтобы без разрешения не возить...

— А-а-а—протянул Колчин—ну ладно.

Поднялся по лестнице. На первой площадке задержался. Мелькнуло в глазах сегодняшнее утро: гаденькая улыбочка Снигирева, прищуренный глаз Артемьева. Даже уборщица Таня, с какой-то неопределенной улыбочкой, высоко подняв голову, обнесла его чаем.

— Сволочи... Смеются.

Во рту накопилась горько-соленоватая слюна, кулаки сжались.

— К чорту, в фабрику опять уйду...

В лицо пахнуло упругим шумным теплом. Перед глазами встали гигантские соты—окна фабричные. Вспомнил Василий фабричный двор, а вглуби его, за решоткой рамы, черное колесо маховика словно крыло большой птицы...

Сжал перила. Выплюнул тягучую липкую слюну.

— Нет. Не сдамся еще, не в таких переплетах бывали...

Поднялся по лестнице и пока шел мимо ухмыльнувшегося в бороду курьера, мимо стеклянной двери машинописного бюро, где Алевтина Петровна и Ниночка выстукивали непонятную мелодию, лицо было серое и жесткое.

Секретарь ячейки Данилов развел руками и улыбнулся:

— У нас нет ни одного факта, чудак человек.

Колчин швырнул только что свернутую папиросу в угол, отчего тот вспыхнул веером золотистых брызг.

— Ты и не найдешь их. Понимаешь нельзя это передать... Понимаешь?..

Разговоры о его выдвижении:

— Колчин, брат.. такой. Чорта свернет...

В посиневшем от табачного дыма воздухе легким газом повисла тишина. И ей, этой тишине, было тесно в оклеенной бледно-зелеными обоями комнате, под серым, пыльным потолком.

— Не могу же я вызвать Еремина и сказать: что ты, сукин сын, выдвиженцев прижимаешь. А насчет расходов посмотрим...

— Когда же смотреть, скоро второе полугодие кончится.

— Ну?

— Закрутил вам голову этот Артемьев и вся бухгалтерия запутала..

— Ладно—поднялся Данилов—работай иди. На очередном бюро обсудим.

Губы Колчина сжались и побелели, крылья носа слегка вздрогнули, он сжал плетеную спинку стула, хотел сказать что-то. Потом мотнул головой и молча хлопнул дверью.

— На, посмотри—бросил Еремин секретарю ячейки бумаги.

Данилов пробежал глазами круглые красивые буквы:

„ ... И с сего числа считать меня уволенным от занимаемой мною должности..... Н. Артемьев...

Еремин откинулся на спинку кресла и пустил струю дыма вверх, потом побарабанил по столу, рванул ящик и бросил другую бумагу:

— На вот еще...

„... Так как состояние моего здоровья не позволяет мне продолжать работу..... Бухг. Ильинский."

— Ну что ты на это скажешь?

— В чем тут дело-то?

Секретарь кусал папиросу и постукивал носком сапога,

— Что ты не видишь что-ли—навалился грудью на стол Еремин—секретаришка этот... как его... Снигирев и тот подал заявление об уходе—понимаешь?

— Почему?

— Не могут работать с Колчиным. Груб. Не доверяет работникам. С этими управленческими расходами, например, ведь какую бучу поднял. Даже меня—улыбнулся Еремин—в РКИ вызывают.

— Ну.

Вот и выбирай: или потерять двух специалистов или...

— Или?

Еремин ударил по столу кулаком и передернул плечами:

— Или сказать Колчину, что-бы он делал свое дело и аппарат не нервировал.

Данилов мотнул головой:

— Ладно, вызову Колчина и скажу чтоб не бузил, а работать привыкал, а не то...

— А не то—развел руками Еремин—простой арифметический расчет—два или один. Такого работника, как Артемьев, нам не найти, да и бухгалтера, теперь знаешь как...

— Ладно—отмахнулся Данилов—устроим.

Бригада РКИ работала восемь дней.

Расположилась она в кабинете Еремина. Горбились вокруг стола спины рабочих „Красного Фанерника", „Металлиста".—Щелкали счеты под привычной рукой „мобилизованных" бухгалтеров.

Изредка заходил Еремин. Была ему эта история крайне неприятна, но пробовал шутить:

— Как дела, товарищи, много беспорядков открыли?

Инспектор РКИ неопределенно хмыкал себе под нос. Рабочие сосредоточенно хмурились над листами цифр.

— Еремин поворачивался в сторону Колчина, активнейшего сотрудника бригады:

— Как дела, товарищ Колчин?

Колчин поднимал отяжелевшую голову, с минуту молчал и ронял:

— Ничего, подходяче...

Пока хмурый учстат райкома ВКП(б) выписывал Еремину путевку в распоряжение Н-ского сельрайкома, Еремин, облокотившись на колени руками, рассказывал приятелю по армии:

— Понимаешь, за что сняли и сам не знаю, сняли и выговор дали, секретаря ячейки—тоже...

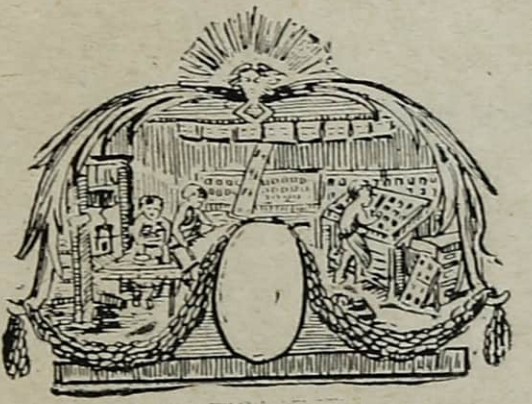
— А спросить за что: расходы завышены управленческие, ха... словно у нас у одних так...

— А выдвиженца .. Что-ж, нельзя человеку позволить дергать аппарат, это простой расчет: лучше аппарат сохранить, чем хвастаться количеством выдвиженцев...

— Да брат, Гриша, —зевнул потягиваясь приятель— всяко бывает—и как будто слегка ухмыльнулся.

Или показалось это Еремину.

Чорт его знает. Приятели тоже...



ГЛЕБ МАТВЕЕНКО

С Т И Х И

УТРО

За домом блеснул
Просыпаясь рассвет,
И ночь
Потянула на Запад.
Я вижу:
Жмет руку
Соседу сосед,
Я чувствую
Угольный запах.
Секунды прокапали
На циферблат,
Минуты сгустив
Над часами.
И утро выходит,
Как на парад,
Зари
Поднимая знамя.

Гудки заиграли
И в высоту
Плеснули
Напевистым паром.
Тогда из калиток
Встревоженный стук
Рассыпался по тротуарам.
И затопивши
Улыбку в губах
Я следом за ними
Шагаю
Туда, где запляшет
Под ситцем рубах
Мускулатура тугая.

МАЙ БАРРИКАДНЫЙ

Над дворцами
Сильно и грозно
Загрохотал —
Май обожженный
Свинцом и знаменами
Хлынувши по городам —
Улицы дрогнули.
Остервенев, ринулись броневики,
Лай пулеметов,
Небо в огне,
Ночь распоролась
О штыки.
Время над городом
Дышет гибелью
Сыплет
Свинцовым градом
Отряд полицейских —
По приказу Цергибеля
Двинулся на баррикады.
Но не впервые,
Порхнув высоко,
Тьму опалило знамя.
На выкрики залпов,
На злобу штыков
Служит ответом —
Камень.

В цепких лапах
Холодного ужаса
Бьется
Проклятие смерти,
Стынут на камнях
Красные лужицы,
Лужицы красные
Требуют мести.
Глазища домов
Дребезжат и жмурятся,
Стонут кварталы,
Придавлены треском.
И вот небывалый —
Рванулся по улицам —
Голос
Рабочего протеста.
Обрывист и звонок
Вязнет на пулях
Гневом бурливым
Май баррикадный —
Краснознаменный
Мечется над Берлином!

ВОТ ЭТО, ДА!

Скользнув
По глади небосклона,
Заря упала
За кусты.
И вышли тракторы
Колонной
Рвать
Черноземные пласты.
Расходится
Мазутный запах
По зыбкой
Свежести росы.
Колонна прет
На быстрых лапах,
Кромсая
Пахотную сыть.
Машинам
Радостно кивают,
Столпившись в кучу,
Тополя.
И черной пеной
Накипают
Обобществленные поля.

Как хоровод
Машины водят
В кипящем
Золоте лучей.
И солнце смотрит
Удивленно,
Машины
Щупая лучем.
Крутыми,
Сочными пластами
Ложится
Взбитая земля.
Эй, солнце!
Мы тебя заставим
Поить теплом
Колхозные поля,
Что-б после шумным
Желтым морем
Цвела пшеница,
Рожь,
Ячмень.
А кто из нас
Не любит зерен,
Звенящих
Лаской деревень?

*
* *

С тоской
Безжизненных пустынь,
Обкарканный
Вороньим вечем,
Угрюм и дик
Лежал пустырь
Земли...
Проклятое увечье.
Так он лежал
В густой пыли
Под небосводочной полудой,
Но вот
Откуда-то пришли,
Пришли к нему
Впервые люди.
Их торопливый
Разговор
Был согласован
С чертежами
И вскоре там
Живой топор
Возился
С тучными кряжами.

И под сумятицу
Дождей
И в шелкопрядную погоду
Бряцанье пил
И крик людей
Встречали
Зоревые всходы.
Так время шло,
У свежих стен
Работа
Радостно кипела.
И в этой шумной
Суете
Недель не мало
Пролетело.
Последний выстук
Топоров,
Последний шелест
Пил, рубанков —
И дом стоит
Совсем готов
И ждут квартиры
Квартирантов.

НИКОЛАЙ АЛЕШИН

С Т И Х И Я

Сцена из пьесы „Земля“

Широкая площадка утоптанной земли. С правой стороны наискось выдвинулась низкая терраса избы-читальни и заслонила четверть заднего плана: деревенскую улицу в отдалении, с грязью и лужами на дороге и с нерастаявшим еще, кое-где, снегом. На избы, изгороди и голые деревья перед окнами падает с левой стороны яркий оранжевый свет заходящего солнца. (Во время хода картины этот свет постепенно становится из оранжевого — красным, потом багровым; отблеск лучей на объявлениях, налепленных на темно-коричневых колонках террасы, тоже меняется в цветах и, потом, тускнеет). Площадка и терраса заполнены большой толпой мужиков и парней. Под вывеской, на примостке, по которому входят на террасу, стоит Сергей, — высокий, статный, бледный парень. Как и весь „молодняк" в толпе, он одет по праздничному, но чище других: фасонистая кепка, по ноге сшитые сапоги и модный серебристый „дождевик". По его лицу и позе заметно, что он только что говорил перед собравшимися и хочет продолжать говорить, но поднявшийся в толпе неуемный галдеж мешает ему.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ *(возвышая голос над толпой.)* Нечего толковать об одном пятые сутки! Понятно — как нам быть. Потеряли спокой, так уж надо решаться. Отпишемся в пролетариат — и дело с концом!..

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — Верный исход. Нашей землей не проживешь. От нее не только в хозяйство приобрести что-нибудь — прокормиться и то нет возможности!

ГЕРАСИМ. — Как это — нет возможности!? Обихаживай ее рукам и возможность получится!.. Мой надел не больше твоего, да я, вот, не намерен итти в фабрику. По-мне — выстрой в городе еще двадцать фабрик, — я все равно пашню не брошу!..

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — Что тебе бросать... ты имеешь скотину... У тебя хлевы ломятся от навозу!..

ГЕРАСИМ. — А-а-а!!! То-то и есть... Земле и требуется навоз! На пустыре грибы не родятся...

СЕРГЕЙ *(пытаясь овладеть вниманием толпы).* — Граждане! Обождите кричать!

ВТОРОЙ МУЖИК *(в задних рядах толпы).* — У пролетариата больше прав! Пролетариату все в первую очередь!..

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ *(там же).* — Ну, это ты зря!.. Права-то, они одни у нас. О правах не может быть разговоров.

ТРЕТИЙ МУЖИК *(там же).* — А примкнуть к городу — хорошо бы.

ВТОРОЙ МУЖИК. — И примкнем... чего тут... Нас по близости припишут: в трех верстах живем от городу, — невелико расстояние.

СЕРГЕЙ *(не без раздражения, обращаясь к задним рядам толпы).* — Граждане! Так мы ни к чему не придем и опять потеряем день!..

ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖИК *(на террасе)*. — ...поступим все на фабрику... А как же с полем быть?

ТРЕТИЙ ПАРЕНЬ *(там же)*. — Поле Обноровским отведем. У них тоже земли-то в аккурат: развернуться негде...

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАРЕНЬ *(там же)*. — Об поле не беспокойся: не останется пустовать. Отрешимся от крестьянства, так не одни Обноровские, — все деревни по вотчине выборных стрядят: по частям разделят наше поле.

ПЯТЫЙ МУЖИК *(там же)*. — Только умри — глаза закроют! .

СЕРГЕЙ *(сердито, рассуждающим на террасе)* — Довольно галдеть без толку! Вопрос требует обстоятельного обсуждения! (*толпе*) Пусть каждый отдельно выскажет! свое мнение.

ФЕДОР. — Правильно! Хоть и не собрание, а давайте по порядку... *(все еще бойко наговаривающей толпе)* Тише. Кой чорт!.. *(Сергею при достаточной тишине)*. Говори Сергей. А потом мне дашь слово.

СЕРГЕЙ (*безотчетно сняв кепку, отчего толпа окончательно смолкла*). — Граждане! Факт ясен: оставаться при земле нам нет смысла...

ЗАХАР (*с террасы*). — Есть ли, голова!..

ФЕДОР. — Кончи, дядя Захар! Сказано: по порядку выступать!

СЕРГЕЙ. — На трех-ста саженях пашни, причитающихся у нас каждому едоку, просуществовать сносно можно только при хорошем хозяйстве. А таковое в нашей деревне имеется не больше, как в тринадцати дворах, В остальных же семидесяти, не то что инвентаря первой необходимости, а можно сказать — нет ни кола, ни лома!..

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — Инвентарь-то ладно бы... Скотина, вот...

ВТОРОЙ МУЖИК. — ...скотина, главное!..

СЕРГЕЙ. — Совершенно верно: малый укос не позволяет нам держать достаточно скота. А без скота, без навоза от пашни такая же польза, как от человека без рук..

ТРЕТИЙ МУЖИК. — Чего уж тут... польза!... К чорту и с пашней!..

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. — Совсем выбилась: каждый год недород.

ВТОРОЙ МУЖИК. — Какое лето не выдайся — все ни плетки у картошки, ни колоса у ржи...

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — На что капуста — и та изрослась: не свертывается. Кочень раскинется страшное дело... с куст! А весь пустой и не белей булыжника.

СЕРГЕЙ (*взмахнул кепкой и этим жестом сдержав возбуждение толпы*). — Итак, граждане! Как бы мы не разбирались в своем положении, вывод один: сама необходимость вынуждает нас перевернуть жизнь другой стороной к солнцу!.. И мы должны это сделать. Должны пока предоставляется нам удобный и, пожалуй, неповторимый случай... Я уже сообщал вам — и сообщаю еще раз: новая фабрика откроется первого мая, через три недели. И хотя впереди лето... она, все-таки, пойдет с полной нагрузкой. Недостатка в сырье не предвидится: лен частью закуплен, а потом будут пользоваться из запаса старой фабрики.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. — А когда станут принимать на работу?

СЕРГЕЙ. — На работу?... Прием начался, уже проводится. Но можете не беспокоиться, граждане: всех стан-

ков не займут вдруг. Навербовать кадр рабочих в пять тысяч—для биржи труда не легкая задача...

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — Полно-ка... задача!.. Не мал город—найдется безработных.

ВТОРОЙ МУЖИК. — Да! сколько хочешь. В каждой семье есть свободный человек — и не один еще.

ТРЕТИЙ МУЖИК. — Нахлынут — только успевай записывать.

ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖИК. — Все няньки, все бездоходные ремесленники встанут на учет.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ *(шутливо)*.—А вот что... и извозчиков-то ни одного не останется.

(Частичный смех, сразу обрывающийся при словах третьего парня):

ТРЕТИЙ ПАРЕНЬ. — Нынче дорожат фабрикой!

СЕРГЕЙ. — Я не отрицаю, граждане... конечно, наберут рабочих. И администрация фабрики рассчитывает на четыре тысячи по городу... Но с остальными дело обстоит серьезно: город населен плотно; для наезжих не найдется квартир, а поселок и наполовину еще не отстроен.—Безусловно, вы правы: недостаток в рабочей силе не затянется надолго. С ним, так или иначе, справятся. Вот почему я и предупреждаю вас окончательно: если вы намерены попасть в фабрику и влиться в пролетариат — добивайтесь этого немедленно.

Обстоятельства сложились благоприятно; в вашей воле — только воспользоваться ими. Никаких колебаний, никаких отлагательств! Надо действовать решительно и организованно. Я предлагаю сейчас-же открыть собрание. Вопрос о крестьянстве поставим на голосование. И если большинство будет за отказ от земли—занесем

это в протокол, выставим причины и возбудим ходатайство перед окрисполкомом...

ВТОРОЙ МУЖИК. — Верно. Чего-же кроме...

ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖИК. — Собранье, так, давайте... пока все налицо... А на буднях опять не удосужимся сойтись...

ТРЕТИЙ ПАРЕНЬ. — ... еще неделю упустим... И останемся на бобах!..

ГЕРАСИМ *(резко)*. — Извиняюсь! позвольте пожалуйста!.. *(сильно продвигается из толпы. Сергею (запальчиво)*: Молод и горяч, а рассуждаешь дурашно! С какой нам стати крестьянство нарушать?!. Раз большая нужда в рабочих — примут и так... не уповая на землю... и раньше брали деревенских *(махнув рукой на толпу)*. Наши, вот, чуть-ли не все, работали в старой фабрике, и в поле клочка не было запущенной земли: урывали время и для крестьянства... А теперь что? — разве не смогут между делом справиться с пашней?

СЕРГЕЙ. — Смогут. Но от этого...

ГЕРАСИМ. — ...А коли так, — не суйся в наставники Нечего смущать народ! Подбивать на разную глупость!..

СЕРГЕЙ *(щитком выставив ладонь перед лицом Герасима)*. — Не брызжись-ко! Я знаю, как поступаю. Твоему уму еще не подняться до моей глупости. *(Указав на толпу)*. Работали они — слов нет. Но найдешь-ли теперь недоношенным хоть лоскут от последней партии полотна, выпущенного с их рук на рынок?!. Пятый уж год пошел после разгрузки. Получив расчет, они и по сейчас дохнут от своего крестьянства!..

ГЕРАСИМ. — Так уж и „дохнут". Слишком сильно выражаешься.

ФЕДОР. — Ничего несильно. Вполне правильно.

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — Знамо, хоть издыхай!

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ (*склеивая слюной цыгарку и зло глядя на Герасима*). — Али ты в достатке живешь, так и о других по-себе судишь...

СЕРГЕЙ (*внушительно и сурово обращаясь к толпе*). — Не буду спорить. — В настоящий момент земля не помешает вам попасть к новым станкам. Но гарантированы ли вы, что позднее вам не придется уступить их другим?!. Имейте в виду: рост пролетариата заметно увеличивается. И, может, года не пройдет, как вас опять отошлют из просторных светлых корпусов к своему наделу. Никакими заявками вы тогда не отобьетесь, потому-что земля — какова-бы она не была, — принимается в расчет за источник дохода... Я, вот, про себя скажу. — После увольнения вас из фабрики, комиссия по разгрузке несколько раз разбиралась и обо мне. И все по той-же причине, от которой потерпели и вы: связь с деревней, с землей... Но в результате этих разбирательств — я всегда оставался на своем посту! Иначе и не могло быть: за семь лет работы на производстве я выгодно зарекомендовал себя перед администрацией. Меня дважды премировали за изобретения, обо мне дважды печатали в газете. Наверно, каждый из вас знает: — Я изобрел насос для подачи масла в машину! Я усовершенствовал палец кривошипа!..

ЗАХАР. — Ладно-ко хвастаться... „я-я!“... К чему ты себя выставляешь?.

СЕРГЕЙ. — А к тому, отец, что только крупными заслугами деревенский может крепить на фабриках и заводах свою неприкосновенность... Вот! Что-же касается

хвастовства — упрекать им меня никому не придется. Да если кто и находит из моих слов, что я навязываюсь на похвалу, то пусть так!.. Я имею на это полное право. Я поступил на производство обтирать с машины пыль, а теперь меня, как молодого почетного трудовика, переводят на новую фабрику машинистом. Машину мне доверяют целиком! — Это что нибудь да значит. Раньше я стирал с нее пыль, а теперь буду пускать ее в движение и останавливать при первой надобности. А, ведь, я нигде не учился, кроме сельской школы, и всякий должен понять, каких усилий стоило мне подняться от пыли до рычага!..

ЗАХАР *(с досадой)*. — Перестань, говорю. Рапортуется тут... Умен — и молчи. *(Вдруг вспылив)*. Чего хмуришься на меня?! Зенки кривишь?! *(Рванулся с террасы к Сергею)*. Убирайся отсюда, мерзавец окаянный?..

(Он хватает Сергея за борта „дождевика" и силится столкнуть его с примоска. Сергей сопротивляется. Федор, тоже, сдерживает Захара. При этом, они кричат).

ЗАХАР — ... Из терпенья вывел! Себя возносит, людей подстрекает, головы всем скружил!. Торчит на глазах, как чорт который!..

СЕРГЕЙ. — Изорвешь, отпустись!.. С ума сошел... схватился!... Отпустись, мол... слышишь!..

ФЕДОР. — Дядя Захар... Нельзя так... Понимаешь, нельзя... Не заводи скандала. Отпустись, в самом деле... *(Толпа обеспокоена. Из общего говора ее некстати вырывается веселый возглас какого-то малорослого парня не видящего из-за стоящих впереди, что происходит на примостке:)*

МАЛОРОСЛЫЙ ПАРЕНЬ. — Вох! Рукопашная должно-быть.

(Бессильный совладать с Сергеем. Захар отступается. Он устал, вздрагивает после напряжения и шумно вздыхает. Федор отходит к колонке террасы. Сергей, возбужденный и раскрасневшийся, оправляет дождевик, застегивается).

СЕРГЕЙ (*нащупав пуговицу, болтающуюся на лоскутке*). — Так и есть... изорвал! (*зло отцу*). Что-ты, обалдел? Наскакиваешь драться!

ЗАХАР (*крайне нервно*). — Вот и обалдел!.. Не настривай народ против земли! Не смей, сукин сын! Нету таких законов, чтобы землю бросать. И так немало загублено, ее целые десятины пустуют повсеместно. (*Захлебывается от быстрого говора. Затем продолжает*). Тебе мила фабрика, — и работай один... выслуживайся, как знаешь... А других не заманивай в нее.

СЕРГЕЙ. — Это тебя не касается.

ЗАХАР. — Нет, касается — раз не по смыслу затрагиваешь мирские интересы... Ты никем не уполномочен определять нас в пролетариат, и не трепощись зря, не затевай чего не следует!.. Нам надлежит при крестьянстве находиться, радеть об нем и не смышлять о постороннем.. Не вольны мы отказываться от земли! Нам надо дорожить ей и содержать ее в настоящем порядке... Она уходу спрашивает, рук удобных.

СЕРГЕЙ. — Так... Но если хозяйство подорвано, — что-же остается в конце-концов?.. Нелепо быть рабом земли, которая недостаточно вознаграждает за труды. Чрезвычайно нелепо! Нужно считаться с этим, а не горячиться понапрасну и не позволять себе диких выходок...

Нечего буйствовать надо мной и принуждать меня молчать. Я не подросток, чтобы из под кулака повиноваться твоей родительской воле... Моих намерений не сокрушишь бычьим озорством, — будь покоен... Я знаю: тебе есть расчет и пахать. Земля у тебя несравненно лучше, чем у них. *(Кивает головой в сторону толпы)*. Ты каждый год кладешь навоз... Но должен сказать тебе, что для общественного благополучия — личным пренебрегают... Да... Присягни этому правилу!..

ЗАХАР. — Не желаю я никаких твоих правил.

СЕРГЕЙ. — Тогда — будь в стороне и досадуй умеренно... Предоставь мне действовать так, как я хочу...

ЗАХАР. — Да, валяй — валяй... выкраивай из себя старшину!..

СЕРГЕЙ. — Это — не твое дело... *(живо)*. Тебе еще надо-бы воздержаться нападать на меня. Ты подтянулся и стал настоящим крестьянином только благодаря мне. Не работай я на производстве — ты не построил бы дом на фундаменте и не держал бы лошадь и пару коров....

ЗАХАР. — Вон-что! так оно и есть!.. Нашел чем уткнуть... Много я видал от тебя денег... Твой заработок на тебя-же и уходит. Ты чего-чего не запотраиваешь: то — радио, то — модели разные, то — к лосипеду мотор... Ты на одни книги полполучки изводишь... *(с глубокой горечью)*. Хэ... в зависимость меня поставил!.. Коли на то пошло — так отделяйся с богом!.. Не больно я таким помощником дорожу. Вот, женишься на-днях — и отгораживай четыре окна. А мы с матерью объ одном останемся... Я лучше сам стеснюсь да не потерплю укоров..

СЕРГЕЙ. — К чему ты мне предлагаешь раздел? Вот странно...

ЗАХАР. — По тебе-же лажу. — Над отцом заносишься— толковать иначе не приходится... Бери что хочешь из имущества... поделим безгрешно... Авось без тебя в нищие не выйду... Я ведь не мот и не трутень какой. Мне скоро шестьдесят лет минет, а я пока еще никого не насмешил!..

СЕРГЕЙ. — Ты в крайности вдаешься, вздоришь не по существу ...Зачем строить перегородки, когда я не напрашиваюсь на полную самостоятельность... Я совершенно по другим причинам коснулся с е м е й н о г о... ты не понял меня...

ЗАХАР. — Наверно не понял... глуп я, голова... *(пылко)* Знамо, — ты в машину живешь, — так тебе земля чортом кажется!.. Ты, — что не работаешь на фабрике, — разу на полчаса не удосуживался подсобить мне... Пласта навоза не выкинул из хлева покоса не прошел п о р о с н и к у.. Выводишь чертежи, да железо пилишь, — только и занятия.. А я и в поле — один, и на пожне — один... не разгибаю спины целое лето.. И слыхал-ли когда, чтобы я на усталость пожаловался? *(страстно)*. Все-бы сутки, кажись, при деле находился, — вот до чего мне земля по душе!.. Я пуще себя забочусь о ней, ночей не досыпаю!.. Найдешь ли на моей полосе камень, али палку какую?.. — Мне с сердцем не справиться, ежели который ком валяется не у места.. Земля для меня дороже всего. Мне взяться за нее приятнее ситцу... *(прижав руку к груди-растроганно)*: Я люблю ее понимаешь?!..

(Его чувство возбуждает толпу. Она плотно сдвинулась, заволновалась).

ФЕДОР (*порывисто шагнув к Захару*). — Дядя Захар... ах, чудак!.. А нам разве не мила земля?.. Скажи на милость...

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. — Мы, тоже, не в городе выросли...

ВТОРОЙ МУЖИК. — ...с малых лет все силы положили в нее...

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — И нам не сладко руки от нее отнимать, да, ведь, как-же быть?..

ТРЕТИЙ МУЖИК. — На что-бы уж приятнее землей существовать.. говорить не приходится!..

ГЕРАСИМ (*смятенно и дерзко встав перед толпой*). — Дураки вы! — вот что скажу! — Из за фабрики губят крестьянство .. Да разве суются от полного воза в другой запряг?!. Вы что думайте?...— Земля для жизни самое надежное подспорье! неиссякаемый клад, — хотите знать... Да особенно у нас... рядом город... Вы во весь год не заработаете на фабрике столько, сколько можно выручить от земли одним летом... Вы сообразуйтесь... у меня, вот, парники... (*увлекшись, говорит голосом, каким сообщают секреты*) — каждая сажень дает шесть рублей... Я по два руна снимаю, головы круговые...

СЕРГЕЙ. — Верно целишься, да в холостую палишь... (*указав на толпу*). — До парников-ли им, когда нужда на хребте сидит ..

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — И мало-то-маля поправиться невмочь, а ты ссылаешься на парники...

ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖИК. — Не нам валить такое дерево.. На эту затею денег надо целую охапку ..

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. — Как-бы сами были мастеровые — другой-бы разговор.. А то, ведь, всякую-всячину заказывать придется: рамы, щиты...

ПЯТЫЙ МУЖИК. — ... а стекла... Поди-ко приценись в „Коммунальном строителе“ к б о ю, попробуй-ко!..

ТРЕТИЙ ПАРЕНЬ. — Чего уж там... *(Герасиму)*. Хорошо загребать рубли, когда парники-то тебе от тестя достались... Сам-бы попробовал их нажить...

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — ...да!.. На готовом-то гнезде любая птица привьется..

ТРЕТИЙ МУЖИК. — Чудное дело... приравнивает нас к себе и дураками еще обзывает. — Нам с парой ж и в о т и н едва сдобровать, а к нему пастухи неделю ходят на черед...

ФЕДОР. — Что ему скотину не держать; у него корм даровой: он по волости вино развозит, а с завода получает бардой...

ГЕРАСИМ. — Развози и ты. Никому не запретно.

ФЕДОР. — Да уж явится-ли охота перебивать у тебя. Ты всю жизнь будешь клянуть, изведешь попреками...

ГЕРАСИМ. — Изведешь, такого з у б а р я. Ты первый норовишь сцепиться..

ФЕДОР. — Не поробею — сделай милость! Кому-другому уступлю, а уж тебе в обиду не дамся. Это раньше вы, кулаки, помыкали нашим братом, а теперь и мы вас взуздать можем!..

ГЕРАСИМ. — Какой-же я кулак. С чего ты снял?...

ФЕДОР. — С факта... *(спрыгивает с примостка к Герасиму)*. Который год арендуешь надел Никошки Шлыги?.. Чужую собственность эксплоатируешь? А-а-а!. *(отходит от Герасима, но поощренный галдежом сочувственно настроенной толпы, стремительно возвращается)*. — Считай за милость, что тебя на общество допускают!...

Донестись-бы об тебе куда-следует — не заглянул-бы к нам от своих парников!..

СЕРГЕЙ. *(нетерпеливо).* Ну ладно, Федор... довольно пререканий. Этому конца не будет.. *(толпе).* Давайте ближе к делу... проведемте собранье, пока не стемнело.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. — Конечно... чего отлагать. Приступить к голосованию, чем попусту кричать, да оспаривать друг-дружку.

ВТОРОЙ МУЖИК. — ...самое лучшее. Все равно к обоюдному согласью со слов не придем, — нечего и думать...

ПЯТЫЙ МУЖИК. — А оттянем до другого разу — и вовсе ничего у нас не выйдет. Сейчас, и при желаньи-то, беспокойство долевает, а уж после — больше того мненья явится..

ТРЕТИЙ МУЖИК. — Как-же... шутка-ли — растаться с землей. Разобраться в корне — так это надо мужество иметь..

КОЗЬМА *(на цыпочках приподнявшись в средине толпы).* — Вот-что, граждане. Я не отнесусь с худой стороны к вашему замыслу. Оно — ежели рассудить по-настоящему, — то на фабрике жить не плохо. Отработал положенное время — глядишь и свободен. Хоть — рыбу удь, хоть — газету читай... спокой дорогой. — Но мы к этому непривычны — сами знайте.. да и хозяйство у нас... как не подбито оно, а надо признаться, что невозможно пустить его совершенно на босую ногу... У нас каждая стройка к делу: двор, сарай, амбар... С тоски пропадешь, когда все это на глазах же пустовать будет...

СЕРГЕЙ. — Чепуха!..

ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖИК — .это, может, у тебя коечто находится под сохранностью, а в наших амбарах, кроме соломы, ничого доброго не лежит.

ПЕРВЫЙ МУЖИК. – Верно-что.. Только и остается— раскатать их на дрова. А жалеть уж нечего.. пожалуй сокрушайся...

КУЗЬМА. — Ну, хорошо... Коли держите такое намеренье — впору разговаривать иначе. Определяйтесь на фабрику, раз охота разбирает, — хлопочите городские права. А мы, вот, — сколько объявится желающих, — останемся при крестьянстве. Отведите нам по углу — и в поле, и в лугах; нарежем мы на каждый двор по полоске, и все обойдется честь-честью: вы будете сами-по-себе, и мы — тоже...

ПЕРВЫЙ СЕРЕДНЯК. — Правильно!

ВТОРОЙ СЕРЕДНЯК. — ...это, вот, действительно.. вернее выйдет. Пусть каждая сторона справляет свой интерес.

СЕРГЕЙ. — Ну, нет... такое предложенье неприемлимо. Ни в коем случае! Раздвоенности не должно быть. Нам нужно сообща постановить: или пахать попрежнему, или навсегда породниться с корпусами.. А с иным протоколом бесполезно и хлопотать: опротестуют его, и все пойдет насмарку...

ПЕРВЫЙ МУЖИК. — Ясно... только делу навредим.. Уж на приходится считаться: кто чего желает. Пить, так, всем из одного колодца!..

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ *(Нетерпеливо Сергею).*—Открывай собранье! Голосованье покажет: к чему определиться нам... Где член сельсовета? *(оглядывает толпу).* Кузьма Егорыч?..

ТРЕТИЙ МУЖИК. — Нету его: он к районному ушел, на заседанье.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ, — Вот тебя и раз. Как-же быть?..

СЕРГЕЙ. — А зачем член совета? Что мы... не вправе без него собранье провести? Председателя можно избрать. Назначайте кандидатуры.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. — И верно... *(улыбаясь)* Сергея... Кого-же кроме тебя...

ГОЛОСА: Просим Сергея!..

ТРЕТИЙ МУЖИК. — А Федюху секретарем ..

ФЕДОР (*смущенный*). — Я не в курсе этого дела ..

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАРЕНЬ — Чего, не в курсе... словно впервые...

СЕРГЕЙ. — Больше нет кандидатур? Назначайте еще.

ГОЛОСА: Хватит... Кроме некого... Сведующих не найдется. Нешуточное собранье... не пастуха рядим...

СЕРГЕЙ.—Тогда разрешите собранье считать отрытым.

ФЕДОР *(встав подле Сергея говорит ему)*. — Послать-бы за книгой протоколов...

СЕРГЕЙ. — Не стоит. У меня блокнот... хватит бумаги. *(Вынимает из под грудного кармана большой табельный блокнот и подает его Федору)*. — Есть у тебя карандаш?

ФЕДОР *(поспешно достав из кармана брюк карандаш)*. — Только не химический..

СЕРГЕЙ. — Это не важно, какой... А то, мне свой необходим. *(Обращается к возбужденно настроившейся толпе)*. Итак, граждане... прошу разговоры прекратить!..

ЗАХАР *(презрительно)*. — Молчим.

СЕРГЕЙ *(невозмутимо)*. — Приходится. Того требует момент. (*Толпе*): Я думаю, никаких предложений и доба-

влений по вопросу об уходе на фабрику не поступит Все уже достаточно ясно... Я непосредственно буду голосовать „за" и „против".

ГОЛОСА. — Конечно... В зубах уж навязло... Голосуй безо всякого... чего там...

ГЕРАСИМ (*толпе*). — Валите, голосуйте! Вас много... Ваш верх!.. А протокол, все равно, в нужник угодит!..

СЕРГЕЙ. — Ни тебе предугадывать его судьбу. Заткни анучкой свои пророческие уста! (*Толпе*). К порядку, граждане. Я проголосую сначало „против". Прекратите разговоры. (*При полной тишине*). Кто против ухода на фабрику и окончательного отрешения от земли—тех прошу поднять руки. (*Помахивая карандашом, подсчитывает вслух*). Раз, два, три..

ЗАХАР (*поднявшим руки*). — Да, не подымайте... что вы!.. Быть и дело!.. Пусть постановляют. Сумеем обжаловать...

СЕРГЕЙ (*Федору*). — Двенадцать...

ГЕРАСИМ. — Какие двенадцать... врешь здорово!... Подсчитай-ко сызнова.

СЕРГЕЙ. — Я не слепой, и повторяться не намерен.

ГЕРАСИМ. — ...а отца не занес... меня пропустил...

СЕРГЕЙ. — Вольно-же было вам гордость проявлять...

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. — Отступись, Серега... переголосуй! — Он, толстой чорт, запостоянно наперекор идет!.. (*Толпа негодует*).

СЕРГЕЙ. — Граждане, не надо галдеть. Я переголосую. Ведите себя спокойно. (*Выждав тишину*). — Кто за то, чтобы остаться при крестьянстве — тех прошу поднять руки. (*Подсчитывает*)... Одиннадцать, двенадцать. .

(*Герасим, отвернувшись в сторону, тоже поднял руку*).

СЕРГЕЙ. — Тринадцать...

ЗАХАР (*сыну*). — Не выйдет по вашему... закон не позволит!.. Побросаем землю — вся республика с голоду подохнет!

СЕРГЕЙ (*Федору*). — Тринадцать... (*Герасиму*). Надеюсь, удовлетворен... (*Толпе*). Продолжаю голосовать... прошу соблюдать тишину.—Кто за то, чтобы поступить на фабрику и влиться в пролетариат тех прошу поднять руки.

(*Все, за исключением „тринадцати" и Захара поднимают руки*).

СЕРГЕЙ (*подсчитывает*), — Раз, два, три, четыре, пять, шесть... (*оглядев ассортимент поднятых рук, произносит с суровым торжеством*). Большинство! Крест земле! (*Накрест рассекает карандашем воздух*).

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. — ...и собранью — крышка!..

СЕРГЕЙ. — Совершенно верно. Считаю собранье закрытым. (*Берет у Федора блокнот и просматривает запись*).

(*В толпе—бурный говор, движение. Из общего гвалта выделяются отдельные голоса*).

ГОЛОСА: ...Теперь заживем по свисткам!.. Хуже не будет! Еще больше поимеем спокою!.. Как и не раскаяться... сказал тоже!.. Привыкнем. Сначала только тягостно будет... Обойдемся без коровы... Дай наплевать!.. Одна маета от такого крестьянства. Разделились — и слава тебе, господи!..

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ (*в шалом весельи, хватает сошедшего с примостка, Федора*). — Качнем секретаря! Налетай, ребята!..

ПАРНИ: (*набрасываются на Федора*). — Качнем качнем!..

ФЕДОР (*отбивается*). — Бросьте! Ну вас к чорту!..

(*Федора, при истовом хохоте, несколько раз подбрасывают вверх*).

СЕРГЕЙ (*убирая блокнот в карман*). — Граждане!.. Минутку внимания!

ГОЛОСА: — Тише!.. Слышите!.. Тише... эй!..

ПЕРВЫЙ МУЖИК (*парням „качающим" Федора*). — Обождите ломиться! Вам-ли говорят!..

(*Толпа стихает*).

СЕРГЕЙ. — Чтобы не возникло у вас беспокойство, я поставлю вам в известность: заявленне я напишу сегодня-же; завтра заверю его в сельсовете и во вторник подам в окрисполком. На этой неделе, я думаю, наша участь решится... в желательном результате... Вот... (*с улыбкой*). Одолит нетерпение — приходите ко мне за справкой, в окрисполком я буду наведываться каждый день .. А пока, пожелаю всего лучшего... (*притрашивается к козырьку кепки и уходит. Толпа шумно, как за вожаком, устремляется за ним. Беспорядочные крики*).

ТРЕТИЙ ПАРЕНЬ. (*Спрыгнув с примостка, нарочито-бесшабашно запевает*): —

„Протопчись тропинка в поле,
Зарастай моя земля!."

— И-эх!..

ЗАХАР (*обрывает его*): Не ликуй безо-время. Еще, как обернется... Рано в мамину могилу кол забивать!..

(*Все уходят. Сцена с минуту остается пустой. Из отдаленного города доносятся свистки. Возвращается Федор; бродит, глядя в землю: что-то ищет. Слева, за сценой вдруг раздается пение: „Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила!." Фе-*

дор подымает голову и смотрит в сторону поющего:— „Знакомые печальные места. Я узнаю окрестные предме-е-е...“ Поющий смолкает, завидев Федора. Федор выказывает смущение. Входит Владимир, с чемоданом в руке. Его ботинки, брюки и полы пальто забрызганы дорожным навозом).

ФЕДОР (*с неподдельной приветливостью*). — Скажи ты на милость... Владимир Васильич. Понимаешь... насилу узнал...

ВЛАДИМИР (*тоже, приветливо улыбаясь*). — Да?.. (*опустив на землю чемодан*). — Здорово, Федя (*рукопожатие*).

ФЕДОР. — Приглядываюсь: кто, мол, поет?..

ВЛАДИМИР. — А-а-а.. Родное настраивает... четыре года дома не бывал...

ФЕДОР. — Да... ты, брат, совсем нас забыл... Только-что с машины?..

ВЛАДИМИР. — Ухм. Чертовски устал. (*Садится на чемодан*).

ФЕДОР. — Еще бы не устать. Как-бы дорога хорошая. А то, такой грязью по-делу не возмешься до городу дойти.

ВЛАДИМИР (*пощипывая с брюк навоз*). — Скверно... А относительно „забывчивости“, ты несправедлив. Знаешь... ни одних каникул свободных не было: две практики в Сибири отбыл; на Кавказе работал...

ФЕДОР. — Не совсем-ли кончил учиться?

ВЛАДИМИР. — Вроде того... Дипломная работа на зиму осталась.

ФЕДОР. — Инженером, что-ли, заделаешься? Представь себе, — до сих пор не знаю: на кого учишься.

ВЛАДИМИР. — На геолога. (*Шутливо*). — Получу знание свободного землекопа... — А пока, дай закурить пролетарскому студенту.

ФЕДОР (*спохватившись*). — Можешь поверить... как на зло, махорку потерял. Вот ищу (*показывает вокруг рукой*).

ВЛАДИМИР. — Почему-же, именно, здесь ищешь?

ФЕДОР. — Кроме негде потерять. Собранье здесь было... качали меня... Вот и думаю — вытряхнули.

ВЛАДИМИР. — Качали? По какому-же поводу?

ФЕДОР. — Да, так... сдурились .. На фабрику уходим, к городу хотим приписаться. А крестьянство постановили нарушить.

ВЛАДИМИР (*встает, изумленный*). — То-есть, как нарушить?..

ФЕДОР. — Вовсе... Передаем землю вотчине...

ВЛАДИМИР. — Пф-е! Странно. Почему-же передаете?

ФЕДОР. — А какая польза от нее?.. Совершенно соком не дошла. Пуд просеешь — полтора нажнешь.

ВЛАДИМИР. — Чудаки-же вы. Надо удобрять

ФЕДОР. — Знаем, что надо. Да, нечем удобрять-то. Две-то скотины больно немного настаивают навозу.

ВЛАДИМИР. — Не обязательно одним навозом... У нас фосфориты под-боком. По оврагам — целые залежи их Я, собственно, нарочно приехал определить их массу.. Все лето буду делать изыскания. Организуйте мне помощь — через год поднимем урожайность...

ФЕДОР. — Нет уж.... незачем теперь... Не согласятся. И так уж, смаяла нужда. Натерпелись вдосталь... Дождаться не можем, — как бы на фабрику определиться. Навернулась возможность — не будем отступаться... надо хлопотать и хлопотать...

ВЛАДИМИР. — Едва-ли наши хлопоты увенчаются успехом. — Вы не представляете, какое социально-преступное значение имеет ваш поступок! Чорт знает!.. Мужик восстал против земли. Ведь, это также нелепо, как, если бы король ополчился против собственной монархии. (*Срыву подняв чемодан*). Нет... такое явление не поддается логике... Ваш бунт против земли глуп, хотя и обоснован фактически... Ему трудно подыскать определение. Это - - взрыв мыльного пузыря! Несуразная стихия!

(*Идет направо. Федор, с опущенной головой, следует за ним*).

(*Занавес*).

АЛ. КОЛЕСОВ

СТИХИ

ПЕРЕКЛИЧКА

Песни звенят и клонятся
К радости и труду.
Будней стальная конница
У жизни на поводу.
Крепки и верны удары
Молота и кувалд.
Быт отживает старый,
Нового льется вал.
Фабрик ударных бригады
Шлют свой горячий привет
Сильному Ленинграду,
Шумной, большой Москве.
Перекликаются степи, —
Урал и Кавказ —
Как у них движется стройка
И пятилетки наказ.
Так, без конца и краю
Всюду, вблизи и вдали,
Молодость в нас играет,
Радость поет в груди.

ПЛОТНИК

Это ли
Не наши этажи
Вырастают
Все стройней и выше,
Ветер
Кудри
Стружек закружил
По горбатому
Излому крыши.
Ветер
Стружками
В лицо дохнул
Молодому
Плотнику
У сваи.
Ветер,
Он влюблен
В весну,
В солнце,
В гомон
Воробьиной стаи.
Ветер,
Посмотри:
Весной
Плотника
Совсем ведь
Затопило,
Под его
Шершаваю
Рукой
Вырастают
Легкие
Стропила.

Любит он
Фуганок
И топор,
Ох, как любит
Плотник
Кудреватый.
Он почетный
Занимает
Пост
В нашей жизни,
Стройкою
Богатой.

Это ли
Не наши
Этажи
Вырастают
Все стройней
И выше.
Ветер
Кудри стружек
Закружил
По горбатому
Излому
Крыши.

ЯБЛОНЯ

У окна, за крепким огородом
Кровянится яблоков налив.
Ветерок в хорошую погоду —
Шелковые листья шевелит.
Много места яблоне любимой
В этом стройном саде — не в лесу.
Скоро яблоки в корзины снимут
И под песни бережно снесут,
А пока засахаренным соком
Набухайте с мая, чтобы рвать.
Солнце золотистое свысока
Шлет тепло янтарное для вас.
А весною яблоня упорно,
Нежно распускает зеленя.
Под землей разбросанные корни
От ветров нечаянных храня,
За уход, за свежие просторы,
Что хмельнее крепкого вина,
Сахарными яблоками скоро —
Яблоня расплатится сполна,
Лишь бы только ветровая сила,
Наполняя шумом синеву,
До своей поры не обронила
Зреющие яблоки в траву.

НИК. АЛЕШИН.

ПАМЯТНИК

Рассказ

„Я памятник себе воздвиг"...
Пушкин

В ШКОЛЕ свободной комнаты не оказалось, и вновь прибывшему учителю, Сунгурову, пришлось искать квартиру на стороне. Ему посоветовали сходить к Вуколу Сидорову: Вукол одинок, а дом у него лучший в селе. И действительно, видом своим дом Вукола произвел на Сунгурова впечатление.

Это был каменный двухэтажник, в шесть окон по-лицу. Все его внешние особенности — вороной отлив на железе водосточников, маркость не совсем еще обветренных кирпичей, глянец белил на рамах и желтая светлота тесниц по обносу крыши, — наглядно свидетельствовали о недавности его постройки. На пригорке вокруг него еще заметны были ржавые квадраты подонков после клеток кирпича; цементный шлак возле стен проступал серыми пятнами из под натасканной подошвами земли, и в стороне, у изгороди соседней избы, валялись на куче щебня и песка два расщелявшихся известковых творила. Сзади к дому примыкал низкий двор от прежней постройки. Сруб его сгнил и покосился, солома крыши слежалась в

войлок и поросла травой. Казалось, что к новому осанистому каменнику этот убогий двор намеренно был прислонен для несуразного контраста. Да и с каждой избой по улице, у этого дома не существовало внешней увязки. Его багрово-рыжая, нелепая кубатура открыто для глаз торчала на голом пригорке посреди широкой дворины, и на стеклах его окон обломками сабель перекрещивались отблески холодного осеннего неба.

В противоположность прочному вековому дому хозяин его представлял из себя жалкое человеческое существо. Еще не пожилой, но худой и старообразный с лица, Вукол был наискосок разбит параличом: левая рука его с бескровными, сведенными в щепот пальцами совсем не сгибалась в кисти и локте, и только при резких поворотах туловища — чуть вздрагивала в плечевом суставе, правую ногу он волочил при ходьбе словно лишнюю опираясь вместо нее на самодельный костыль с толстообмотанным тряпками подмышником. Начисто плешивый, с крупным горбатым носом и реденькой осекшейся шерстью на угловатом костлявом подбородке, он походил на библейского ростовщика и на бывшего актера — трагика, и лишь до глянца замусолившийся полушубок, да серые с облохмотьившимися голенищами валенки подчеркивали его мужичью особь...

Приход Сунгурова встревожил его. Вукол боялся посторонних людей: ходил слух. что сельсовет хочет отобрать у него дом для „общественного использования", и по этой причине, он в каждом незнакомце подозревал агента из Рика. Но когда Сунгуров объяснился о себе и о своих намерениях — он вздохнул и оживился, но принять Сунгурова в квартиранты отказался:

— Не могу. Не по времю нынче держать жильцов: донесут, что пользуюсь нетрудовым доходом — угодишь на высылку...

Сунгуров искренне рассмеялся, попросил разрешения закурить. К отказу от квартиры он отнеся без сожаления: верхнее помещение дома, где они находились, было непригодно в жилищном отношении.

По изрядным размерам комнаты, перекрытый неоструганными досками потолок казался чрезвычайно низким, широкие щели чернели на плохо сплоченном полу; неоштукатуренные стены, в отеках извести и цемента на кирпичах, напоминали лицо больного оспой, и, несмотря на большое количество окон, в комнате стоял бурый полусумрак.

— Почему же стены не побелите? — простодушно спросил Сунгуров, запалив воткнутую в мундштук папиросу.

— Карман не позволяет... резонно и жалко передернул плечами Вукол. Сел на подоконник и хозяйски-деловито заявил о доме:

— Чередом привести его в порядок — ой! еще сколько надо денег. А я из-за него и так немало веку укоротовал... Вота, — здоровой рукой указал он на свою инвалидность, — совсем извелся на работе. Ломил — себя не помнил. Всю Кась обродил, во всех бучилах купался ..

— То-есть, как это, купался?

— Тонул! — с насмешкой и небрежной хвастливостью пояснил Вукол.

— Я ведь — сгонщик. Восемь весен выводил с порубищ плоты, пока на дом материалом запасался. Бывало дрыхнет вся артель в шалашке, а я, один стою на голов-

ной кошме, дежурю сверхурочно. А сивер, темнота — глаза режет. И сон ужасно одолевает. Наткнется плот на что-нибудь — и кувырнешься в воду... — Он нервно высморкался на пол и вытер кулаком склерозно-слезящиеся глаза. -- Принял я маяты на этом сплаве! Врагу не пожелаю такого мытарства. Тянулся из всех жил, все здоровье убил в копейку... вот и выстроился.

Он прерывисто вздохнул, уперся подбородком на подмышник костыля и замолчал, в подавленном раздумьи. Своей неожиданной откровенностью он привел Сунгурова в легкое смущение, но, вместе с тем, и затронул его любопытство. Сунгуров крепче прижался лопатками к спинке стула и, пальцем сминая пепел на папиросе, сказал:

— Однако для меня непонятно: с какой цели вы постарались схлопотать такой дом... именно кирпичный?

Вукол вздрогнул и, в замешательстве начал скоблить половицу наконечником костыля. Брови его угрюмо обнизли, и на серых щеках проступил палевый румянец. Но скромно - улыбчивый взгляд Сунгурова разрядил его волнение и невольно расположил его на признание.

— Видишь - ли, — сипло произнес Вукол и откашлялся.— Цель, знамо была. Я хотел оставить по себе памятник...

— Памятник, — в недоумении выпрямился Сунгуров на стуле. — Как это понимать?

— А у меня сын был, Натолей.. Трех годов ему еще не минуло, как я овдовел. Один сын... а если - бы знали вы, чего мне стоило воспитать его, поднять на ноги...

— Ах, теперь догадываюсь, — бестактно перебил его Сунгуров:

— Значит, этим домом вы рассчитывали упрочить память по себе в своих потомках. Ха... Как могли вы

увлечься такой сугубой идеей?.. Да, — спохватился он, — между-прочим, ваш сын... Вы сказали — был сын. Что-же он, помер?..

— Нет .. зачем помер... — нервно поморщился Вукол.— Он в Саратове, полковым фельдшером. Как призвался в армию, так и служит в ней восьмой год. Днем занимается при полку, а вечером ходит на лекции... Третьего дня прислал открытку. Пишет, что сдал за рабфак и теперь хочет поступать на высшие медицинские курсы. А к чему эти курсы? Озолоти меня — и то не согласился-бы под тридцать лет голову ломать на книгах...

— Это естественно, — весело возразил Сунгуров: — Интересы детей зачастую слагаются вразрез интересам родителей...

— Обманулся я в своем сыне. Ему-ли бы со мной не жить: пашни вдоволь, а дом — хоть дачников пускай. Не едет, что ты сделаешь. Далось ему это учение... А про дом, подумай, что отписал: „бессмысленно повесить на шею такой жернов“...

— Как? Жернов! — засмеялся Сунгуров. — Очень верное определение. Ваш сын меня подкупает...

— Да, ведь, и я не хаю его. Ну только-что боек он соваться с наказами!...

— С какими наказами?

— А вот подбивает меня пожертвовать дом под избу-читальню. Этим, пишет ты по-смерть заслужишь уважение среди односельчан...

В самом деле! — встрепенулся Сунгуров. — Почему-бы вам не поступить так! Вот случай ознаменовать себя памятью. Читальню назовут вашим именем.

— Ну нет, — вдруг побледнел Вукол. — Не для того я

дом наживал, чтобы в нем вольница ломилась!.. Я себе во всем отказывал... кровь терял, хочешь знать!.. Какой дурак валит собственное добро в чужую яму!..

— Ах, закон собственности, — жестко усмехнулся Сунгуров. — Вполне понятно. Это тоже в порядке вещей... Но вы, очевидно, не учитываете уклада и потребностей настоящей жизни, а это важнее вашей потерянной крови... Вчера меня со станции вез здешний мужичек. Он сказал, что к зиме в а ш и всем селом намерены объединиться в колхоз. И надо полагать, что в этом доме будет и читальня и что угодно... Помещения достаточно! Можно вселить пять бедняцких семей.

— Отчего нельзя, — задрожал от запальчивости Вукол. — На готовом гнезде любая птица привьется!.. Нет, попробовали-бы они сами построиться, узнали-бы, как достается!..

— Строятся и они! — веско заявил Сунгуров. И, задыхаясь от теплого волнения, он хотел рассказать о строительстве их, о лихорадочном строительстве, перед величием которого этот кирпичный памятник калеки выглядит так-же ничтожно, как песчинка перед египетской пирамидой! Но он умолчал: бесполезно было пререкаться попусту, да и не стоило раздражать этого, из корысти надорвавшегося на работе и сугубо обманувшегося в жизни человека.

КЛИМЕНТ КЛИМОВИЧ

С Т И Х И

МЫ СТРОИМ

Сегодня от края до края
Плещутся песней гудки,
Блеском зеркальным играя,
Стучат, не смолкая, станки.
Проверены силы машины,
Трансмиссий, шкивов и ремней,
Чтобы окраин равнины
Тонули в сиянии огней.
Чтобы горела раздольем
Радость задумчивых хат,
Коней электрических в поле
Пускают отряды бригад.
Цехи, станки в перекличке,
Тверже, уверенней ход,
Села, заводы — на смычку
Голос страны зовет.
Крепнут, растут заводы,
Крепнет рабочий стан, —
Нужно в четыре года
Дать пятилетний план.

СКОРО ВЕСНА

Помню дни — румяные до боли
И певучие, как звон колоколов,
И полей веселое раздолье
Снежной замятью заволокло.

И звенит простуженным напевом
Голубая ветреная даль, —
Все готово в коллективе к севу
И идут на помощь города.

Наши дни веселые в разбеге
Пробегают с песней по стране,
А задумчивые хлопья снега,
Тихо падая, ложатся на панель.

Только взглянет утром солнце,
С крыш потянутся струной ручьи,
И ударят в стекла нашего оконца
Солнечные колкие лучи.

Засмеются дни улыбкою апреля,
Зазвенит свинцовая панель
И хрустальные лучистые капели
С жадностью потянутся к земле.

Ну, а скоро буйное раздолье,
Ширь полей, луга и пустыри
Трактор с песнею пройдет по полю —
Раскромсает землю до зари.

А потом в напеве голосистом
Улыбнется трактору земля
И коммун широкая волнистость
Продвигает к городу поля.

Улыбнутся утренние зори,
Засмеются капельки росы,
И полей бушующее море
Захлебнется песнею весны.

ДЕД

Опустился над деревней вечер,
Показалась из-за туч луна.
Вдоль дороги пробегает ветер
И ласкает низкие дома.

Зазвенели песнями антенны,
Из окошек тянутся огни,
А в домах украшенные стены
И иконы скрылися в тени.

Хороши веселые вечерки
С разговором теплым и простым,
Но в дому у деда от махорки
Опустился до скамеек дым.

Стонет дедка, жалуясь на плечи:
— Больно холодно в сырой избе...
Скучно деду на истертой печи
Слушать ветер, воющий в трубе.

Скучно, скучно деду и неловко
Одному сидеть в такой мороз:
— Сын ушел на лесозаготовки,
Дочь ушла с ребятами в колхоз...

На дворе залаяла собака
И мурлычит у заслонки кот,
Но а деду хочется заплакать
И кормильцев пожалеть уход.

Зацвели тенетами иконы
И застыли образа в тени.
— Все, что было дедушке знакомо,
Все осталось неразлучно с ним.

Корчит дедка в судороге плечи,
Умирает, видно, старина...
Опустился над деревней вечер
И застыл, окутавши дома.

Н. ОРЛОВА

ТРИ ДОЧЕРИ

Эпизоды к роману

На Ичиханском заводе ночевали китайцы, возвращающиеся с Чагодаевских приисков. Жмуря глаза и сутулясь, они сидели в казарме, опустевшей после разгрома забастовки, и рассказывали.

Завод стоял второй месяц. Половина рабочих разбрелась по другим заводам. Оставшиеся ждали, что можно будет с разливом реки по течению спуститься к рудникам и там получить работу.

Китайцы рассказывали, что много погибло в копях, когда хлынула просочившаяся вода подземного озера. От китайцев же ичиханцы узнали об убийстве Максима Глубинко, забойщика, уволенного с Ичихана за организацию забастовки. В Чагодай попасть было нельзя, казачья застава и пехотинцы, присланные в подкрепление, заграждали дорогу, и китайцы пробирались до Ичихан прибережной низиной, днем прячась по зарослям от пуль усмирителей, заканчивающих расправу в Чагодае. На супесях Чагодая выросло кладбище. Горбатились новые могилы.

Ягодкин принес в казарму газету. О событиях на Чагодаевских копях там писалось блекло. Убийство забой-

щика Глубинко только строчкой из полицейского протокола было втиснуто в скупые описания. Говорилось, что хотя убитый и проявлял свою политическую нетерпимость, но убийство нельзя ставить в зависимость от его убеждений, что здесь, повидимому, имелся случай уголовный с целью ограбления, хотя берданка, с которой возвращался забойщик с копей домой, была при нем. Это было единственно ценное, на что мог польститься преступник.

Ягодкин, суровясь и сжимая кулак, обратился к пришедшим в казарму рабочим:

— Вот, слышали. Товарищ неделю убит, а написали только сегодня. Все рассчитывают подлецы. Пламя хотят затоптать. На вожаков облаву затеяли.

— Не придется, товарищи; нынче с Ольгинских приисков были, там шибко волнуются, ожидай вот-вот вспыхнет. Там горючего побольше, чем на Чагодаевских,—сказал литейщик Кораблев.

Старый китаец, наклоняеь, шептал Ягодкину: „видали кто убил. Боятся очень сказать, но знают кто"... Ягодкин вышел с китайцем из казармы.

— Надо податься на Ольгинские, коли так. Здесь помертвение полное, да и надежд нет, что пустят завод.

— Пустят, как еще месяцок постоит. Прямой убыток. Гредчель то и дело в город гоняет. Из Варшавы телеграммами засыпали.

— Говорят, хозяин сам обещает приехать.

— Как приедет, так легкую смерть и получит. Без покаяния.

— Первого бы Гредчеля надо на тот свет отправить.

— А его за что? Ведь он не хозяин, — высунулся молодой парнишка.

— Вона. Видать, что ты недавно от мамкиного подола отцепился.

— Ты не крестник ли Гредчелев?.

— Да нет, да я так — смутился парнишка.

— Ну так запомни, все они шкуродеры и все нашу кровь через соломинку пьют.

— Из одного теста слеплены, где бы содрать да побольше.

— Нет им прощенья и нет оправданья.

— Сорганизоваться надо. За смерть товарища отомстим палачам нашим.

— Нужно дождаться, что Ягодкин скажет. Так и решим.

— Одним несподручно. Здесь хуже мышеловки.

— Говорим, что на Ольгинский нужно итти.

Вернулся Ягодкин:

— Товарищи, мне довелось многое узнать. Сейчас обязан словом и пока всем не скажу. Но верьте мне как верили Максиму, доработаемся мы до полного раскрепощенья, ежели спаянность и твердость будут. Товарищи, предлагаю завтра с утра собраться за Мытной слободой, чтобы идти на подмогу ольгинским и еще прошу всем вместе спеть похоронный марш, ибо нет с нами нашего товарища Максима.

И Ягодкин, сглатывая соленую слюну, запел осевшим голосом:

...„Вы жертвою пали"...

. . . . . .

Комнаты инженера Гредчеля встречали нежилым уютом. Много литья бронзового и медного — изделий Ичиханского завода — было расставлено на столах и полках.

Ковры с неясными рисунками, медвежьи шкуры валялись на полу. Тусклилось оправой оружие, развешанное на столах. Но не было ни одного предмета с отпечатком освоенности и хозяйского внимания. Все казалось случайным, сдвинутым временно и неудачно расставленым в холодноватом кабинете Гредчеля.

Огромный портрет, исполненный маслом, несколько оживлял комнату, но и это была дань мрачному, неприятному. На портрете изображена была девочка — дочка Гредчеля. Уже будучи взрослой она погибла, катаясь на плохо объезженной лошади. Все помнили дочку Гредчеля, своенравную, капризную и, подчас, непонятно щедрую, раздававшую заводским ребятишкам заграничные игрушки, или, наоборот, спускавшая на этих же ребятишек злых догов: Фляйта и Могли.

Каждый раз, когда на заводе было неспокойно к Гредчелю вызывались все мастера цехов. После последнего увольнения, после отказа рабочих принять на завод штрейкбрехеров, сорвавших стачку на Нортовском заводе, поставляющем снаряжение в военное ведомство, Гредчель вернувшись из города, послал экономку Марину с короткими записками.

— В семь вечера. Идите быстрее.

— Не рысак, как могу, — оборвала Марина.

Гредчель взглянул в ее лицо.

— Чем вы опять недовольны?...

— Как и с моим покойным на Чагодаевском содеяли. Завели в ржавый шлак, да и аминь.

— О чем вы говорите?

— О Максиме Павлыче Глубинко... Убили не моргнувши.

— Почему вы мне об этом рассказываете? — рассердился Гредчель.

— А кому же еще? Не одену я шапку на палку, да в Питер не побегу. Эх, правда-матка, далеко видно лежит.

— Пожалуйста, идите побыстрее и чтобы никаких подобных разгоров в моем присутствии я не слышал.

— Замок скоро куплю, буду запирать язык, а ключ — вам.

Свидетель этой сцены — высокий, костистый чертежник Хвильев усмехнулся зло.

— Герман Францевич! Я поражен. Чего ради, извините, конечно, за вмешательство, вы так стоически переносите грубости этой кавалерийской лошади.

— Я бы давно выгнал ее. Но нужно считаться с обстоятельствами, вы знаете, у жены некая психическая отягощенность и Марина одна может воздействовать на нее и, пожалуй, больше всего своей физической выносливостью...

— Адель Карловна больна?

— Нет, но уже опять странности. Вы знаете, ей очень понравилась дочка этого бунтовщика Глубинко.

— Наталья?

— Нет средняя.

— Надя. Девчонка великоленная! Она кажется нравилась и покойной Марочке.

— Да, собственно это не была дружба, но та привязалась к ней, и девченка буквально жила у нас.

— Воображаю, как бесновался отец.

— У девчонки задатки не плебейские.

— Мне нравится старшая. Чертовски резкая только. Вы понимаете, я с ней пошутил, а она чуть не с кулаками.

По небритым щекам Гредчеля проползло напоминание улыбки.

— Очень коротко. Адам Львович извещен о данной операции. Я думаю что дело дней, когда вам вышлют обусловленную сумму.

— Надеюсь вы упомянули о моем желании перевестись в Ковно. Ах какая прекрасная долина Мицкевича! Весной фиалки и дамы все с букетами... — Это очень нежно.

Обтянутое нездоровой кожей лицо чертежника поражало гиперболичностью размеров. Рот, старчески провалившийся, мертво чернел. Глаза напоминали глаза температурящего больного — так были воспалены веки и белок, отсвечивающий фасфором.

Гредчель тихо спросил:

— Ва — банк на откровенность — вы не трусили? Признаться это не совсем соблазнительное предприятие.

— Когда я учился в Москве, очень нуждался: товарищи подговорили за десятку войти в клетку к медведю..

— Вы согласились?

— Конечно, но выпил перед тем целую бутылку коньяку.

— А сейчас?

— Ни черта. Я попросил у него спичку. Он шел не оглядываясь. У меня меткая рука... Он даже не успел схватить ружье.

— Я где-то читал, что, умирая, человек запечатлевает вроде фотографической пластинки..

Хвильев передернулся:

— Насколько я помню, он даже не взглянул на меня.

— А, вы уже нервничаете?

— Не больше вашего, уверяю.

. . . . . .

... Я могу вам прочитать последнее письмо, полученное мною из Варшавы. Оно касается положения, создавшегося в связи с беспорядками на нашем заводе.

В домашней куртке, без пенсне, Гредчель казался старее и еще обрюзглее, чем он бывал в своей обычной форме. На широких диванах, стульях и креслах сидели приглашенные мастера.

Лысьев ответил:

— Не утруждайте глаза. Лучше своим словами скажите, что пишет господин хозяин.

— Могу и так, как ваше мнение?

— Да-да. Просим, — по-заученному ответили сидевшие.

— ...О прибавках говорить бесполезно. Наоборот, возможно, я говорю возможно, некоторое сокращение.

— ...Оно не очень бы сейчас. Не ко времени — кто-то поперхнулся на словах и замолчал.

— Все будет зависить, как скоро мы пустим завод. Могу сказать вам, что убытки равны стапятидесяти тысячам, не считая, что и копи наполовину бездействуют.

— Рабочие расходятся, кто куда, а потом собирай по штуке, без разбору.

— Надо удержать, — сухо ответил Гредчель.

— Чем их удержишь... Злее чертей.

— Пусть Лысьев раскажет о китайцах с чагодаевских... Лысьев засуетился. Ему, видимо, не хотелось говорить об этом...

— Ну что там рассказывать. Очень известно всем, что там происходит. Испугались китайцы казаков...

— Не только..

— ... Распоряженье было затопить некоторые копи.

— Герман Францевич, — там, говорят больше сорока человек погибло?

— Мне думается, что мы собрались сюда не затем, чтобы обсуждат бабьи сплетни — еще суше и багровея сказал Гредчель. — Об этом можно говорить в частной беседе. Нынче же мы коснемся только нашего завода.

— Конечно, конечно, — снова раздалось с диванов.

— Как будто, главные бунтовщики изъяты?..

— Про Максима Глубинко... Слух есть... Убит будто?

Гредчель, хладнокровно пропустив это, обратился к Лысьеву:

— Я плохо представляю, но уверен, что на рабочих вредно действует Ягодкин.

Лысьев даже подскочил:

— Истая ваша правота. Мутит и вертит он! Друг-приятель Максишки! На сестрах надо-быть женаты!

— Не женат Ягодкин. Не прибавляй...

— Ну может, может быть залебезил Лысьев, только он и Максимка наивреднейшие коноводы.

— Убрать нам нужно его.

— Очень рабочие его уважают.

— Ну мало ли что уважают.

— Сегодня уважают, а завтра уважать перестанут. Нужно сделать так.

— В каком цехе он работает?

— В литейном. У меня-с — приподнялся мастер Гурылев с рысьими глазами и бородкой пономаря.

— Чем отличается?

— Не замечал-с. Трезвый очень он.

Гредчель задумался. Глаза его, потерявшие окраску, были водянисты и холодны.

— Ладно, вы останьтесь и вы — он кивнул Лысьеву.

— Итак, у нас сегодня двадцать шестое. Пергого завод мы пустим — условия пока что те-же. С Нортовского не принимаем, не будем дразнить быков — усмехнулся Гредчель, намекая на отказ рабочих принять штрейкбрехеров. Ягодкина, я бы еще прибавил сюда рабочего Быструхина, нужно с завода убрать. Ну об этом мы решим еще. Для вашего сведения, из некоторых фондов, вам повышается жалованье на десять процентов.

— Благодарим за отеческую заботу — поднялись с диванов и кресел.

— Пожалуйста, — перебирая губами папиросу, ответил Гредчель. — Значит, собирайте рабочих. Я надеюсь. Пока предлагаю закусить и выпить. Марина здесь все приготовит. Прошу извинить. У меня больна жена.

Гредчель вышел.

Чернолицая, с глазами цыганки, и повязанная по-старушечьи Марина, раздвинула большой круглый стол и покрыла его каемчатой скатертью.

— Самовар из кухни принести надо.

Двое ушли, Марина расставляла закуску, стаканы, вино.

— Адель Карловна здорова? — подхалимничая всегда перед Мариной, спросил мастер Лысьев.

— А ты что о здоровье ее беспокоишься? Своего что-ли уступить хочешь — окинув ненавидящим взглядом хлипкую фигуру Лысьева ответила Марина.

— Ну и солдат-баба — стушевался Лысьев. — Ты ей слово, она десять.

Ставя бутылки с вином, Марина сказала:

— Не перелопайтесь чище прошлого раза. На даровое пойло сами не свои. Хуже нас грешных. Своего брата за алтын сбыть готовы. Иуды ненасытные.

Из далеких комнат несся пронзительный истерический звонок. Звонила жена Гредчеля. Запойная, она в минуты просветления была нестерпимо требовательна и раздражительна. Она накинулась на Марину.

— Почему не зажжен свет?

— Потому и не зажжен, что днем не зажигают, а вечером спать изволили.

— Позовите Надю Глубинко, пусть она мне почитает что-нибудь.

— Виданное-ли дело? У них давно спят! Время к полночи!

— Неправда! Вы опять меня нагло обманываете.

— Велика выгода еще вас обманывать. Схожу. Только ее не отпустят. Вина не моя будет.

— Как так не отпустят. Не смеют не отпустить. Я приказываю!

— Ох, милая барыня. Приказывайте уж мне что-ли, если вам так нравится, а люди своим умом живут. Теперь не крепостное!

— Об этом я очень жалею. Марина! Налейте мне немного мадеры.

— Никак нельзя. Доктор меня отчитывал. Герман Францевич рычал, что тигр, а все вы, к чему пьете ровно сапожник?

— Мне очень, очень немного, с нарзаном.

— Не дам! Не велено.

— Вот хамка! Господи, за что я должна быть в обществе подобной обезьяны в юбке. Ах!

— Барыня, а ругаетесь что жиган.

— Позовите сейчас же Германа Францевича и дайте карты.

— ...Я хочу, чтобы Надя жила в нашем доме – заявила она мужу. Мне скучно, я всегда одна, мне выдергала все нервы эта мужичка.

— Хорошо. — Он тупо взглянул на ее опухшие с синими венами ноги, выставившиеся из под мехового одеяла и подумал: „С каждым днем она становится грузнее. Пожалуй девчонка не будет лишней в доме. Смышленная и развязная". Такой сделала Надю Глубинко короткая дружба с дочерью Гредчеля. Она представлялась ему-то очень легко достижимым и давно-заманчивым.

. . . . . .

. . . . . .

Гудок басистый, протяжный, достигая окна и снова отдаляясь, каждое утро будил Варюшку. Он напоминал отца и все с теми утрами связанное. У нее запечатлелось окаймленной курчавой бородой лицо отца, склоненное над ее постелькой.

— Вставай картавулечка, вставай малюпатка. Я на тебя пимы одену. Ну, пляши!

Отец прихлопывал в ладоши.

— Что-ты! Что-ты! Что-ты!

Девочка с серьезными лицом, уперевшись крохотными рученками в бока, плясала. Просыпались от смеха отца старшие сестры.

— Ну представление открылось. Ни свет ни заря — недовольно ворчала Надежда. Немного широкие скулы и острый подбородок делали ее похожей на монголку. Надежда была вспыльчивая и задира.

— Волос у тебя, Надька, жесткий, — бывало, трепля ее по рыжим завиткам, говорил Максим. — Перец из тебя выйдет, а не девка.

— А что мне поддаваться! — отвечала Надежда.

Заводские мальчишки получали от Надежды колотки Она таскала у них бабки, обручи, выпускала голубей и портила крестовки. Делала она все это с отчаянием, прикусив мелкими редкими зубами тонкие губы. Надежда любила яркие тряпки, и вызвать у нее неудовольствие можно было, если охаять всегда причудливое ее платье.

— Тряпичница ты, Надька, барахлянка — смеялись над ней подруги. — Все мудришь — к чему нацепила экий бант на башку.

— Вот хохотово гнездо!

Надежда сердилась, потом она стала избегать подруг, а дочка Гредчеля, приехавшая на каникулы, сделала ее своей приятельницей. Надежда все дни пропадала в доме Гредчелей.

— Не нравится мне это — сутырился отец.

— Балует девка. На свою голову. Им, господам, игрушки, забавы, а вскружат Надьке голову, потом не совладаешь.

Но попытки остановить Надежду были безполезными Она, разъяренная, с блестящими глазами, кидалась на всех:

— Ну и буду ходить. А вам что? Мне и так за батьку глаза выкололи. С одного завода на другой, как цыгане, кочуем.

Гредчель однажды, встретив Максима в конторе, сухо сказал:

— Вы — отец, а не умеете обращаться с детьми.

— В чем вы еще хотите обвинить меня?

— Мне ваша дочь жаловалась, что вы не отпускаете ее к нам.

— Да!

— Вы поступаете крайне неэтично.

— Я не знаю, как можно назвать мой поступок, но я делаю по рабочему, как меня обязывает к этому...

— Бросьте. Глупо слепо подтаскивать везде сословное различие, закрывающее вам глаза на общечеловеческие отношения.

— Хорошо вы поете, господин Гредчель. Слушать не хочется.

— Пусть девочка ходит к моей дочери. Потом я слышал, что ваша старшая хотела учиться. Я могу помочь...

Глубинко, ничего не отвечая, одел кепку, и, молча, вышел.

Дома он сказал жене:

— Олюня, что с Надькой делать? Ходит к Гредчелям, жалуется, а те готовы хоть сегодня меня в истязателя собственного ребенка превратить вдобавок тому, что по заводу сплетню пускают.

— Еще о чем?..

— Будто я на Коломенском вместе со Щавлевым, с провокатором, перед рабочими засыпался.

— Максим, голубчик,— отчаянно встрепенулась Ольга Федоровна. У нее дрогнуло лицо и тревогой засветились глаза.

Максим ласково тронул ее плечо:

— Не расстраивайся! Кто поверит. Знают меня ребята не первый день. А Щавлева мы при случае прижмем. На тачку и вывезем.

Наталья, лицом похожая на отца, — у нее также были скольцованы брови на переносье, черные волосы с тонкой струйкой прямого пробора были гладко причесаны, приоткрывая высокий лоб, сказала:

— Нюрка Щавлева мне проходу не дает. Твой отец, говорит, каторги дожидается.

— А ты плюнь. Мало ли что эти выкормыши гредчелевские брешут!

. . . . . .

От Ичихан до Чагодаевки дорога кедровником, по пригорку, киноварью блестевшему от ореховой шелухи, засыпавшей тропинки. Резвые белки шелестели в ветвях, роняя кедровые шишки.

Каждый вечер Ольга Федоровна брала Варюшку и шла на могилу к мужу на Чагодаевские копи. Ольга Федоровна стала молчаливой. Только Наталья, резкая и быстрая в движениях, наводила порядок в доме, заставляла мать есть и пить.

— Мама! Не убивайся. Не вернешь. Побереги себя.

И в Наталье произошли большие перемены. Упрямый взгляд ее стал еще жестче. Даже улыбалась она стеснительно, в глазах горели острые черные точки.

Заводский доктор Иван Кириллович, маленький старик с голубоватой сединой, бесшумный и умиротворенный, навещал семью Максима. Он и устроил Наталью работать на лечебный пункт при заводе.

— Серьезная девушка не по летам, о вас заботится лучше не надо — хвалил доктор Ольге Федоровне старшую дочь.

. . . . . .

. . . . . .

Были на могиле отца. Варюшка нарвала палевых бессмертников и, по-детски наивная, спрашивала Ольгу Федоровну:

— Папка скоро приедет?

На крыльце стоял Гредчель. С ним разговаривала и смеялась громко Надежда. Облокотясь на перила, хитро прищурив узкие глаза, усмехался и поддакивал мастер Лысьев.

Рыжие кудри Надежды выбивались из под сульфаринового платка. О смерти отца она стала забывать. И если бы не Наталья, снова начала бы ходить на танцульки в Мытную слободу.

Гредчель сразу оборвал разговор и с подкупающей простотой сказал Ольге Федоровне:

— Вы извините, что я вмешиваюсь в ваше глубокое горе, но примите мой совет: нужно меньше бывать там, где есть повод для новых страданий.

Ольга Федоровна, не поднимая глаз, но сотрясенная внутри ненавистью к Гредчелю, стала подыматься. Но Варюшка тянула за руку:

— Мамочка, мамочка, у дяди маленькие молоточки.

Жарким шопотом заговорила Надежда:

— Скажите ей сейчас, пожалуйста, а то она уйдет, ну скажите, Герман Францевич.

И он стал говорить. Ольга Федоровна видела его лицо таким, когда пришла к нему после убийства Максима. Гредчель глядел через ее голову, раздельно и холодно говоря:

— ...Я знал вам будет трудно. Да трудно. Трое детей. Им нужно дать жизнь. Мы с женой решили помочь вам. Собственно, ваша воля принять иль не принять

нашу помощь, но кажется, дочь уже сказала свое слово.

— Чья дочь? Что она могла сказать вам, что вам нужно от меня — захлебываясь гневом и подступающими слезами прохрипела Ольга Федоровна. Варюша жалась к ней и глаза ее были напуганными.

— Ну, разумеется, ваша дочь Надежда...

— Ничего слышать не хочу. Опять мучаете. Мало вам Максима замучили.

Гредчель досадливо поморщился.

— Вот женщина невозможная. У нее совсем не работают задерживающие центры. Я свой долг выполнил.

Но тут ввязалась Надежда:

— И в самом деле тебе говорят о помощи, а ты точно на арестантов кричишь. К тебе не пришли в долг просить. Ты благодарить должна. Герман Францевич удочерить меня хотят, к себе взять. Вот!

— За такую милость в ноги надо поклониться, а не то что, например, возражать, — вздохнул мастер.

Пользуясь молчаньем матери, Надежда повела наступление:

— Не сладко у вас живется, что и отец жив был — картофельная похлебка, да черный хлеб...

— Не смей, мерзавка, проклятая, не смей так говорить — рванулась с побледневшим и обезумевшим лицом Ольга Федоровна. Она снизила голос до свистящего шопота: — Каждую пядь, по которой отец прошел, ты должна целовать, чтобы добиться прощенья за свои слова.

— Ну, вот еще. Видали! Мать как-будто, а хуже чужой. Не буду я с вами жить...

Она сорвала с головы платок и, уткнувшись в него, заплакала.

— Полный семейный купорос получился — хихикнул мастер. — Люди своего счастья не умеют по перышку ощипать.

— Уходите, уходите. Сию-же минуту. Кровь высасываете по капле. Убийцы окаянные.

— Вы можете ответить за эти слова — холодно заметил Гредчель.

— Вполне. По закону и при свидетелях — выскочил вперед Лысьев.

— Эх, и неблагодарные, если-бы моей дочке такое приснилось. От одного сна осчастливилась бы.

— Во всяком случае, Надя, вы не огорчайтесь. Нужно меньше обращать внимания на эту озверевшую женщину. Она не ведает, что творит...

— Вон, убирайтесь. Будет ли конец этому испытанию — заломив руки, почти прокричала Ольга Федоровна.

Из соседних дверей вышли на этот крик и возмущенные заговорили:

— Чего вы там травите человека. Готовы до могилы довести. Благодетели чортовы.

Лысьев засуетился:

— Вот всегда так... Из-за угла, что шавки лают.. Такой народ, не разобравшись, одни грубости...

Уходя Гредчель усмехнулся:

— Я не знал, что у наших рабочих такие злые жены. Видно, урожай был неважный.

Переходя мост, Гредчель и мастер встретили Наталью. В ее глазах вспыхнули угрюмые точки, когда Гредчель поровнялся с ней. Она даже на секунду остановилась. В сжатых губах ее было недоброе. Скульцевавшиеся брови были мрачны и тени усталости лежали на щеках.

— Она тоже настроена на войну—подумал Гредчель.

— Даже не здоровается. Господи, владычица мать, откуда у этой породы гордость такая — щелкнул языком Лысьев.

— Ничего, мы ее укротим в два счета, Нифонт Иванович, завтра уведомите вдову рабочего Глубинко о выселении из дома, принадлежащего заводоуправлению — тоном приказания сказал он, прощаясь с Лысьевым.

Заплаканная Надежда штопала чулок, громко шмыгая носом и недовольно отвернулась, когда Наталья спросила, где мать.

— Почем я знаю. Хоть бы все вы провалились!

— Надька, ты что? Окончательно одурела — сурово оборвала ее Наталья.

— Не знаю кто: я или все вы...

— Тяжелый ты человек. Не можешь в дружбе жить. А в нашей семье только дружба и нужна. Теперь особенно...

— Не читай проповедь, я в монастырь не собираюсь. Ты одна у нас святая. Соседи во все голоса тебя нахваливают. Мать только тебя и слушает.

Наталья горько усмехнулась:

— Дурочка. У нас ты вроде чужой гостьи, на все косишься, всем недовольна. Неужели не видишь, что мать ветром шатает. Много ли ей надо, а у нас еще Варюшка Куда мы все поспели, если каждый из нас будет в свою сторону тянуть.

— Умница разумница, уговаривать мастак. У всех вас на глазах сапоги одеты. Ходите будто зачумленные. А что мне тоска смертная среди вас, так не замечаете. Господи, скукотища. Другие девченки одеваются, наря-

жаются, родители все заводят, а я вот на чулках одну дыру сто раз заштопываю.

— Чего же ты хочешь? Неужели, думаешь, что отец для того и жил и покою никогда не имел, чтобы нам наряжаться, как барышням...

— Да наплевать мне на все. Не понимаю я чего и отец и ты, и мать хотели, а мне бедность и нужда опротивели. Не хочу больше так... Тебе в поломойках пристало жить, а я рвусь к хорошей жизни, настоящей. Неужели мне век в рванине, да в обносках ходить...

Наталья перестала есть. Лицо ее стало жестким и посерело, как мозг.

— Вот чего ты хочешь. Понятно. Тебя совсем свели с ума гредчелевские обещания. Ну что же, я, пожалуй, скажу матери. Пусть не задерживает.

— Верно! Наташка, милая, дорогая! — перепрыгнув через стол, Надежда бросилась на шею старшей сестре.

Та со всей силой отшвырнула Надежду к стене:

— Мразь. Уродина. Не сестра ты мне, а хуже гадюки.

Надежда видела выступивший на щеках сестры гневный цвет.

— Сама урод, вот и завидуешь, что меня к Гредчелям зовут жить, со злорадством крикнула она Наталье, бросившейся разыскивать мать.

. . . . . .

Ольга Федоровна не уходила от могилы все дни. Бледная и молчаливая возвращалась она в комнату к самой ночи. Маленькая Варюшка еще по-детски не понимала всю тяжесть случившегося и еще по-детски забывчиво играла с ребятишками соседей. Все думали, что Ольга Федоровна помешалась. Ночью она перестала спать.

И сторож, ходивший с чугунной доской, видел ее сидевшей неподвижно у открытого окна.

— Горюешь все, — спрашивал он. Тяжелый крест тебе достался, но ты отвыкай, голуба, горе то — оно усталый конь, побежит, да повалится...

Кашляя старик шел дальше в проулок и глухо стучала чугунная доска. Только к утру, ползком добиралась до постели Ольга Федоровна. Но сна не было.

Соседки приходили, жалостливо вздыхали. Ласкали Варюшку.

— Уезжай ты Христа-ради, уезжай. Брат у тебя где? Уезжай хоть к нему. Сердце рвется на тебя смотреть, — плакала сестра Ягодкина, сидевшего в тюрьме неизвестно за что.

— Уеду, твердо сказала Ольга Федоровна.

Заводоуправление расщедрилось. Двадцать пять рублей было выдано на дорогу вдове Максима Глубинко.

К этому времени в поселке пронесся слух, что побирушка косноязычный Горашка видел человека, убившего Максима. Сначала об этом говорили скрытно, а потом все чаще и напрямик. Пытались спросить самого Горашку, но он, жалобно заикаясь, замахал руками и быстро сорвался с места.

Ольга Федоровна, позвав Горашку, накормила его и отдала все рубахи Максима. Горашка радовался. Он долго примерял синюю сатиновую рубашку и рот его ширился в квадратную улыбку.

— Горашка, ты никого тогда не видел, когда Максима убили?

Он боязливо повел глазами и трусовато посмотрел на Ольгу Федоровну.

— Горашка. Я никому не скажу — стала допытываться Ольга Федоровна.

Он задумался. Потом, сощурив глаза, подошел к столу, начал водить пальцем по клеенке и, заикаясь, сказал:

— Ч-е-р-т-е ж-н-и-к.

— Чертежник! вскрикнула Ольга Федоровна.

— Не кричи, — замахал ладонью нищий. У него в глазах был испуг и забитость зверя.

„Наверно застращали" — подумала Ольга Федоровна и собрала быстро в узелок подарки Горашке:

— Иди. голубчик, спасибо тебе.

. . . . . .

Длинно тянулся к вечеру по-осеннему сырой и прохладный день. В просветы ветвей уже оголенных деревьев показывались побуревшие, суриковые облака. В поселке было тихо. На Чагодаевские копи приехала комиссия из города. Все с Ичихан пошли туда. Ольга Федоровна тоже пошла, но дорогой отстала от Натальи.

— ...Не можется что-то, лучше вернусь, чтобы не расхвораться.

Она закуталась в серый платок и прошла незамеченной к коричневому дому, где была чертежная. Два окна были заставлены белым картоном. Но в узкие, как тронутые ножом, полоски шел яркий свет. В чертежной кто-то насвистывал и кашлял. Ольга Федоровна села на бревна против дома. Скоро дверь дома открылась. Широкий костистый чертежник заслонил собою прорез двери. Его лица не было видно. Чертежник вышел на крыльцо и стал запирать дверь. Ольга Федоровна поднялась Под ее ногами хрустнули стружки.

— Кто здесь? Моментально повернулся чертежник.

— Кто здесь? повторил он.

Ольга Федоровна подошла к крыльцу.

— Что вам нужно?.. — дрогнувшим голосом сказал чертежник и отшатнулся, узнав в подошедшей жену Глубинко.

Она подняла револьвер из под платка и, совершенно неожиданно для чертежника и для себя, выстрелила в упор. Два раза. Чертежник, падая на колени, протянул руки вперед. Потом качнулся и, навзничь, по ступенькам грузно сполз вниз. Отвращение к этому человеку переполняло ее. Она подошла и что нашлось у нее силы пнула его в обвисшие щеки ногой:

— Гадина, проклятая...

... Конечно, никто не мог подумать о том, что это сделала она. А полиция неделю не выезжала с завода. Обыски были сделаны у всех. Приходили к ней. Но ведь поголовно все, кто знал вдову Максима Глубинко, возмущались, что тревожат ее прикованную лихорадкой к постели? „С таким слабым сердцем можно каждую минуту умереть“ — сказал доктор Иван Кирилыч, протирая очки.

Он был у Ольги Федоровны долго, приласкал притихшую кудряшу Варюньку. В это время и пришли с обыском.

— Вы же видите, что человек еле жив и каждое потрясение может быть концом — встав, строго сказал он пришедшим.

Пристав пожал плечами:

— Исключений делать, к сожалению, не можем.

Ольга Федоровна закрыла глаза. Слезы прокладывали светлую дорожку из под закрытых век к уху.

Доктор нетерпеливо постучал по столу.

— Это же возмутительно. Будьте людьми.

— Я не рекомендую вам, уважаемый доктор, особенно защищать человеколюбие. Мы видали экземплярчиков, которые даже в гроб ухитрялись прокламации прятать.

. . . . . .

Теперь они стали жить втроем у бондаря Глушкова. Домик его, стоявший в самом овраге, где по ребристому склону разбросаны были редкие сосны, стал приютом Ольги Федоровны, Натальи и Варюшки. До Ичиханского завода, откуда им пришлось переехать после ухода Надежды к Гредчелю, Наталье стало ходить далеко. Она похудела, но усталость свою прятала и при матери казалась веселой. Оставаясь одна, она подолгу сидела, положив голову на руки, и думала:

— Жизнь у меня выкраивается неладно. Вот еще год пройдет. Живем точно пустынники. Что же мне делать? — мучилась она.

Им трудно было жить на ее получку. Мать раньше немного шила, но теперь Наталья вырвала бы у нее работу, жалея слабеющую мать. Бондарь Глушков — высокий старик — ничего не брал с них за жилье, но Наталья старалась отплатить ему заботой, чтобы в доме была чистота и тепло.

У Натальи больше наростала ненависть к сестре. Сиделка из больницы, бывавшая у Гредчелей, рассказывала, что Надежду не узнаешь.

— Какая модная барышня. О вас и не спрашивает. В американском шарабане с Германом Францевичем каждое воскресенье в город ездит.

Наталья сама видела это. Она возвращалась домой, когда светло-серая лошадь, раскидывая глинистые комья,

промчала в отполированном экипаже Гредчеля и сидевшую рядом с ним Надежду в широкой соломенной шляпе с букетом маков.

Наталье хотелось швырнуть камнем в спину сестры.

— Погоди, когда-нибудь мы с тобой посчитаемся — вслух сказала дрожащим от гнева голосом Наталья.

В другой раз Надежда явилась к ним. Шуршащее шелковье и высокие каблуки делали ее взрослой. Она небрежно носила лиловый зонтик, отметая листья на дорожке.

Наталья увидела ее в окно и бросилась к двери:

Как ты смела притти. Не пущу к нам. Не смей тревожить мать.

— Что ты, Натка, с цепи сорвалась? — усмехнулась нахально Надежда. Я вижу, что у тебя печенка лопается от моей удачи, ну и пропадайте.

— С кем ты там разговаривала, — спросила Наталью мать.

— С нищенкой...

Варюшка была похожа на мать. Приподнятая губа открывала неровные зубы. У нее также были прозрачные глаза с короткими, острыми ресницами. Тонкий, немного вздернутый нос, придавал лицу задорное и вопроситель ное выражение. Любознательность ее поражала всех.

— Знаешь, Федоровна, не жилица будет твоя дочка— умудренные житейским опытом, говорили соседки.

А Варюшка, одев на голову продырявленную шляпу бондаря передразнивала его, важно надувая щеки, — так делал бондарь возясь над бочкой. Однажды она отправилась на охоту с сыном бондаря Егоркой, дурашливым парнем, не заметившим, что ребенок идет за ним после

рассказов о чудных птицах, виденных Егоркой за быстрой рекой Иметью.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

В полушубке, завязанная по-старушечьи клетчатым платком, Марина вошла в комнату. Левая рука ее была укутана теплым.

— Проститься зашла к вам.

Ольга Федоровна поднялась с полу, где укладывала в корзинку вещи:

— Ну и вам, видно, путь-дорога в скорости. К брату едете?

— Да. Наташа раньше справилась.

— Все равно здесь сжили бы со свету. На Наташеньку тоже смотрели с подлостью.

— Тетя, что у тебя с рукой?

— Куколка...

— Нет, верно, — пристала Варя.

— В Чулым еду, садясь, сказала Марина, если и костьми паду, то около своих. А рука у меня завязана вот почему. Вчера плита, как шальная разогрелась, а Гредчелиху пьяную принесло на кухню и ну представляться. Я ее в комнаты. Да, что... откуда у нее, чорта, сила взялась, так толкнула и прямо на край—всю руку спалила... Анафемская баба. Из за Надьки теперь в злую голову дурит. Все вина смешает, и тайно и явно упивается. А Надька с барином схлеснулась.

— Вот на, возьми, тебе пригодны будут, а мне век коротать на готовом. Собью копеечку на чем другом.

Она достала с шеи мешочек, в нем были деньги.

— Возьми Христа-ради. И спасибо,—мне твоего не надо.

— За что, Маринушка, — удивилась Ольга Федоровна.

— Возьми, от простого сердца я даю. И мне ведь никто, а люди добрые помогли. Ты свою чашу только пить начала, а я уж десять лет пригублялась к ней, от краю до дна хватила. Твоего не терзая убили, а у меня муж мученическую смерть за правду тоже получил. Был он у меня закоперщиком на Миусских копях. Затащили в старую штольню, замучили, а потом водой залили. Не довелось и увидеть хоть бы мертвого.

Слезы крупные и быстрые тяжело падали на укутанную руку.

— Прощайте, родимые,—Марина крепко поцеловала Ольгу Федоровну и Варю.

— Вас только и жаль, а этому гредчелевскому аду, одно—пустить красного петуха. Прощайте, ласковые мои.

Ольга Федоровна ничего не могла и сказать, так растрогала ее ласка этой женщины, замордованной своим горем, ласка, давно уже не виданная от людей. Варя совсем притихла.

. . . . . .

В маленьком вестибюле была античная статуя из мрамора с окурком, воткнутым в губы неизвестным озорником. Старуха, заменявшая швейцара, считала петли вязанья. Общежитие переживало мудрые часы, засев за книги. Тишина легла густой пылью в корридорах. Входные двери своим всхлипом заставили старуху оторваться от вязанья. Пришли две женщины. В густой ворсе меха остался запах вечерней улицы и терпких духов. Высокая, в оранжевом пальто и замшевом шлеме, спросила:

— Где найти студентку Глубинко?...

Старуха поднялась с табуретки:

— В которой комнате она живет?

— Не знаю. Но она здесь.

Старуха стала искать в списке, наклеенном на стене.

— Погодите, я сама. Вот. Десятая комната. Где мы пройдем?

— Сейчас нельзя. Сейчас занятия. Я уж сама вызову. Подождите здесь.

Другая женщина с песцом на голубом пальто презрительно сказала:

— Человеческий обглодок. Вообще здесь страшное сейчас убожество. Ты знаешь этот особняк принадлежал певице Корецкой. Она в Америке. Мне рассказывали, что здесь мозаичные стены и настоящие гобелены в гостиной.

— Воображаю, на этих гобеленах, наверное, теперь висят лозунги вроде: „Сифилис не позор, а несчастье".

Они заглянули в смежную комнату. Здесь, повидимому, была столовая. Огромное зеркало во всю стену отразило их фигуры.

— Какая роскошь! Смотри Нэдда, — завистливо вскрикнула женщина в песце.

— Удивительно! Редкий случай, когда не восторжествовали низменные инстинкты обитателей этого дома Зеркало не разбито. Даже не верится.

— Посмотри, какой чудесный орнамент.

— И представь, все это принадлежит теперь хамам, ничего не понимающим в искусстве и культуре.

— Ты напрасно так говоришь, Нэдда. Помнишь студента. В Петровском он играл с тобой в теннис.

Очень галантный и воспитанный и не-прочь приволокнуться.

— Ах, оставь, этот студент давно вычищен. Тоже джентльмен, увез мои ракетки.

— Но все-таки я думаю, что встречаются и приличные.

— Не думаю. Да вот сейчас увидишь, так называемую, сестрицу. Юбка, наверное, шире моря, красноармейский кушак и голова, требующая срочно бани.

— Нет, это уже архаично. Их женщины по-немножку начинают приобщаться, даже к косметике.

— Кто меня звал?...

Они сразу вместе повернулись. Высокая девушка, несколько загоревшая, с лицом, на котором выделились близко посаженные светлые глаза и с кольцами вьющихся меднокоричневых волос, стояла перед ними.

— Меня вы спрашивали?

У пришедших на лице смущение чередовалось с досадой и растерянностью. Высокая неестественно весело рассмеялась и шагнула вперед.

— Ты меня не узнала? Не узнаешь? Так можно забыть друзей и знакомых!

Девушка отрицательно покачала головой:

— Я Варвара Глубинко. Быть может вы перепутали адрес? Она бесстрастно глядела на яркие костюмы пришедших.

— Нет, мне вас... тебя..., спадая с веселого тона сказала высокая.

— Нэдда, скажи ей что ты сестра, беззастенчиво рассматривая девушку дерзкими глазами женщины, постигшей очень многое, сказала спутница высокой.

Теперь отступила девушка.

— Сестра? Уверяю вас, что вы ошиблись. У меня только одна сестра и больше нет...

Она хотела уйти, но высокая вцепилась выхоленными пальцами в рукав ее фланелевой блузки...

— Ты забыла меня, милая девочка... — впадая в фальшиво-искренний тон пропела она...

— Послушайте, мне некогда. Разве вам неясно, что путаете меня с кем то другим.

У высокой нетерпеливо сжались губы:

— Ну я не могу же, это смешно доказывать, что я твоя сестра... Надя, — тише сказала она.

— Видимо мы не поймем друг друга. У меня не было третьей сестры. У моей матери никогда не было третьей дочери. Понимаете? Она повернулась:

— И еще не советую вам еще раз заходить сюда Здесь вас могут встретить неприятности.

— Подумай, от этих все можно ожидать, —нисколько не удивленная сказала спутница высокой. — От них в трамвае и то можно получить нервное заболевание.

— Какая досада, мне до крайности нужна справка что мой отец был рабочий Глубинко, чьим именем назван теперь и завод и город. Какой это важный козырь в моей карьере жестко выпалила высокая.

. . . . . .

Проводник сообщил:

— Граждане, кто желает, может съездить в город. Поезд стоит четыре часа.

Варя одернула занавеску вагонного окна. Крутобокие цистерны дальнего следования цепью вытянулись, закрывая здание станции. Но это и не было нужно.

...Тот город. Детство...

Она легко спрыгнула с верхней полки и вышла на площадку. Внутренне у нее все улыбалось в переборе звенящей дрожи. На ее лице, с отлежанной на жесткой подушке щекой, казалось омытыми близко посаженные глаза.

— Нет, я лучше сама поеду. Звонить не буду. — Говорила она себе.

— Куда же вы, товарищ? — удивился ехавший с ней в купе старик-инженер.

— В город хочу съездить.

— Ну и меня захватите.

— Видите-ли мне надо в учреждение, но мы можем сговориться, где встретимся.

Ей было очень жарко, хотя охватывал сырой воздух туманного утра. Она вышла из трамвая около здания парткома. На широкой лестнице, в наплыве расходящихся веером ступенек, она, взволнованная, не чувствуя своих шагов, остановилась, чтобы отдышаться. За широкой дверью громко разговаривали и слышны были телефонные звонки.

Варвара спросила, можно-ли пройти к секретарю парткома.

— Товарищ Глубинко сейчас на бюро. Только-что начался ее доклад. А вам что, — спросила остриженная по мальчишески девушка, сидевшая у телефона.

— По личному вопросу.

— Вы можете сказать мне, я передам.

— К сожалению, я не могу этого сделать — рассеянно улыбнулась Варвара. Да если можно, я напишу у вас записку и еще на словах вы скажете, что была сестра.

Девушка замялась...

— Это вам я посылала телеграмму? Зимой.

— Да, мне.

— Может все-таки вы дождетесь?

— Нет, я пользуюсь остановкой поезда.

Но... я попробую все-таки сказать!

— Не надо — остановила Варвара. Если вы разрешите, я взгляну только на сестру.

В полуоткрытую дверь она увидела прямой подбородок, раздвоенный ямочкой и решительные губы, читавшей что-то, сестры. Когда та подняла лицо, то Варвара могла видеть окольцованные черными бровями серьезные глаза Натальи. Голос у нее был несколько глухой, и когда она говорила, то согнутая ладонь увесисто ложилась на стол.

...Совсем, совсем, как отец, — вспомнила Варвара строчку из письма присланного матерью.

Варвара подала руку девушке у телефона.

— Вы передайте ей, что я растрогана этим свиданием — по-детски очарованно улыбаясь сказала Варвара.

Старик-инженер ждал ее внизу.

— Что у вас такой взволнованный вид?

— Так просто! Экскурсия в прошлое...

— Ну-ну. Не верю.

Инженер делился своими впечатлениями.

— Странный город, как будто все строители уехали на курорт. Все начато и нечего не доделано. И очень шумно.

— Никто не уехал. Все на месте. Крепко работают, а это мы так попробуем судить из окна вагона, — поделовому вставила Варвара. — Вы здесь раньше не бывали? Лет пятнадцать назад...

— Нет, не приходилось...

— А я здесь выросла. Но детство мое уже закрыто металлургией, железобетонными махинами, зашнурованными в проводах. Вы да и я, пожалуй, случайные зрители органического врастания этого города в новую эпоху. Я бы могла сказать о кедрах, и о моих шалостях, но это сантиментальность, это снижение темы, большой темы. Но я помню и людей, на чьей крови создается новое, бодрое лицо этого города.

ЭДВАРД РУЧИНСКИЙ

С Т И Х И

МЫ — ИМ

Дни упрямо согнулись в дугу —
В этих не бывает отлива.
Знаю я:
    в этот день
        не смогу
Удержать боевого порыва.
    Что-ж!
        У нас
            и земля,
                и завод
Горе — наше
И наша — радость.
Каждый шаг,
    что ведет вперед,
Разве, сам по себе, не награда?
Видишь дом?
    Этот дом наш!
Слышишь музыку?
    Музыка наша!
Этот гулкий, торжественный марш,
Заглушающий все марши.

Ну, конечно,
еще борьба,
Мы пока отсталы и нищи,
Но пойди,
поищи раба!
Хоть с прожектором
не отыщешь.
По стране, по нашей, пройдешь,
Странник в грубой, простой одежде:
Всюду буйно цветет молодежь,
Все дороги —
для молодежи!..
Мы — шестая,
Но пять шестых
Скоро будут для жатвы спелы.
А пока
в тех пяти
не стих
Черный свист вечерних расстрелов.
Вот парнишка шестнадцати лет
И с измученными глазами
Бледен.
Кровь его
в груз монет золотых
перелил хозяин.
А хоть чуточку стал взрослей,
Кое-что, может быть, понял.
Под винтовку!
Стреляй и бей!
За отечество и колонии.
Шаг за шагом
пройдешь жизнь,
Становясь
что ни пядь —
сутулей.
Да одной колеи держись,
Или вздох перервут пулей.

Чтоб
    как прерванная гроза,
Эти дни проревели мимо,
Поднимите робкие глаза
На флагшток,
    где плещет знамя КИМА.
И в подполье
    в полночной глуши,
Молотком разбивая кольца,
К нам,
    к последним боям спеши,
Братья, [redacted]
    братья мои, комсомольцы!
Пусть задором вспыхнут зрачки,
И споем веселей
    под пули,
Так,
    чтоб вспыхнули три буквы
        К И М
Так,
    чтоб песни
    мир перевернули.

1926 .

*
* *

Гляди, растут в пустынях города
И ветром пахнут синие высоты..
Стихов своих мы наполняем соты
Душистым медом песни и труда.

1927 г.

ДАЙ РУКУ, ТОВАРИЩ ПАРОВОЗ!.

Помню — било в лицо стужею,
Сыпало градом вкось и вкривь.
А издали,
Где рельсы сужены,
Такой мучительно простуженный
Надрывался паровозный крик.
Семафор спросил:
„Что тебя привело?
Как ползешь, не умыт, не кормлен?“.
Паровоз промолчал и, пыхтя, поволок
К ближней стрелке и дальше,
На серый Восток,
Зябко вздрагивающие платформы.

Его все насупившиеся броневики
Встречали лязгом, сурово приветливым.
Колеса стучали:
„Пошли в штыки!“
А пар, прорываясь: —
„Нажим руки
Гудком эту ночь проветривай!“
Рогожи и трупы,
Песок и снаряды.
И неуклюжие жерла орудий,
При матовых отблесках фонаря,
Казалось, шептали:
„В тоннели ныряй!
О голоде позабудем!“...
Но время боев на часах истекло
И бой мы в крови зажали.
Чтоб солнце по-дружески мир наш пекло.
Мы делаем сталь, и кирпич, и стекло.
Но паровозные поршни заржавели.
Он долго на стынущих тупиках
Одиноко стоял заброшенный.
И скорбь молчалива,
И скорбь высока.
И, если бы мог,
При чужих свистках,
Катились бы его слезы — горошины.
Но мы в трудовую пошли игру,
Пласты чугунные взрезали
И инструменты визжат и орут,
И ржавчины нет, и сверкает грудь,
И снова тебя пустили на путь
Наши растущие слесари.
И снова рельсы гудят и поют,
Когда ты попираешь шпалы.
— Давай же, дружище,
и я запою
— Ту песню,
что ты не забыл в бою,

— Ту песню,
что пар и железо льют,
Ту песню,
что мир раскачала!
Привет поршням, рычагам и трубе,
С перегромом и пересвистом,
Врезаться в ликующую голубень
Будет очень весело мне и тебе
И нашему товарищу машинисту.

1928 г.

ОЧЕРКИ

Д. КОНОНОВ

ИМЕНИ СТАЛИНА

МЕСТАМИ высохшая до хрупкой пыли дорога тянется извивающейся лентой, минуя топи, косогоры и бугры. По краям—желтые полосы полей, а через желтое—редким ситом пробиваются зеленя. На солнце радужным отливом играет непотревоженная заморозками озимь. Путь—тихо.

От Спасского до Корякова ни одна из полос не тронута острием плуга, и лишь дорога, по которой ежеминутно встречаешь торопных людей, воза семян и бугорки навоза на зелени полос говорят о приближающемся севе.

От Козелина до Корякова ни по одной из меж не прошел плуг и борона. От Козелина до Корякова поля единоличников—поля молчат.

У возницы для нерасторопной лошади один окрик:—„Ну, телися!".

И вороная лошадь с седым пятном на крупе, понимает смысл, вложенный в слова возницы. При каждом окрике воронуха высоко подкидывает задние ноги и семенит частой рысью, перебирая неуклюже ногами.

— Мы во время коллективизации не обобществляли „одним махом" скот. Куда его сведешь? Двора подходящего нет, к тому же во всех окружающих деревнях, кроме Корякова, организовались карликовые колхозы по 5-7 хозяйств. Впоследствии от этих колхозов пришлось отказаться. В Корякове колхоз объединяет 18 хозяйств. Колхозники приступили к пахоте. Первое время насмешки можно было заметить, неверие в колхоз, а приступил колхоз к полевым работам, мнение у населения изменилось. Первая борозда взрыхленной колхозным плугом земли была лучшим агитатором за колхоз,—стремясь осилить голосом певучесть ветра—передает землемер тов. Сорокин.

Огнув большой курган, дорога потянулась гладкой ровностью полей, ощетинившейся желтым надкорнем прошлогодней сжатой ржи. Впереди, за выступом разбросанных риг, сереет здание коряковской школы. После 30 минут нудной до острой боли тряски, повозка вбегает в узкие улицы Корякова. Дом, пахнувший отходящей временем смоли, с резными, цвета июньского неба, наличниками, большой двор и ладно слаженные дроги говорят о достатках хозяйства, о его крепости.

— Моя квартира... забежим, погреемся,—показывая на дом, предлагает тов. Сорокин.

— Ну, как колхозники работают?—вопрос вместо привета хозяину ладного дома.

— Что говорить—третий день в поле без передыху, все на парах коней. На колхозных полосах: дым столбом. Что говорить, как черти работают.

И в словах крепкого середняка чувствуется признание силы колхоза.

Выехав за Коряково, мы были свидетелями колхозной работы. Плуги „Сакка", глубоко врезаясь в землю, стригут ровными пластами коричневую, залежалую почву, а там, где уже почва перевернута наизнанку плугом, пружинные бороны рыхлят, разбивают пласты, разгоняют липкий запах, пропитанный влагой земли, по полям.

Поля колхозников—не молчат. Поля колхозников заговорили языком работы, весеннего труда, языком боевой готовности к севу.

— Бог на помощь!—кричит возница колхознику с раскрасневшимся лицом, с которого обильно льет пот.

В ответ на слова возницы молчание.

Попал не в точку. Выстрел мимо цели...—смеемся мы над растерявшимся возницей.

Миновав поля коряковских колхозников, мы опять встретились с молчаливой задумчивостью, с омертвелой тишиной пашен единоличников.

Всю дорогу молчавшего возницу заставляет говорить предложенная папироска.

— Закурим?

Молодое лицо, чуть потревоженное налетом „мудрого" пушка на подбородке и верхней губе, поворачивается в нашу сторону.

— Закурим..., а то у нас в деревне мужики табачную пыль начинают курить, пропустят через мелкое сито и курят. Ничего, курить бы можно, только крепка, каналья. Затянешься, в носу свербит. О-г-о! У вас, никак „пушки"? Давай попушкарим.

— О коммуне не расскажешь?

— О чьей? Та, что у нас в Калинине? А чего же бы это о ней говорить?

— Как чего? Ну, как работают?

— Работают! Так там же все „бесштанные“, те, у кого хата—на бок, да те, у кого, кроме кнута, да пастушьей свирели—ничевошеньки. Пришли на готовое, ну и живут.

Разговаривать с возницей было бесцельно. В его словах—ярко выраженная неприязнь к „бесштанной“ коммуне.

Я стал ждать случая, когда парень заговорит сам.

За нискорослым леском, на горе, показалась деревня Калинино, где живет больше половины членов коммуны имени Сталина, а в низине под горой постройки хутора Садовых. И здесь на полях, как и за Коряковым, полосы уже потревожены плугом. Коммунары приступили к пахоте. К нам навстречу шли четыре пары коммунарских лошадей с плугами.

— Здорово!

— Здравствуйте!

Коммунар с землистым лицом, щуря глаза, внимательно осмотрел нас и разложенные на повозке приборы землеустроителя. Возница неловко заворочался на сиденьи.

— Ну, телись! прикрикнул на воронуху и нетерпеливо задергал возжами. Не оборачиваясь к нам, предварительно крепко ругнув кого то и за что то, заговорил:

— Вчерась коммуна на первую борозду выезжала. Шефов с музыкой ждали, обещались быть, да никто к ним не приехал. Деревней—с „Интернационалом“ и флагами шли. Смех—один. Несколько раз полосами проехали, языками позвонили и обратно—по домам.

— Ну, а остальные то мужики в поле выезжали?

— Нет... смотреть ходили.

И боясь, как бы кто не подслушал, торопно заговорил:

— К готовому гнезду любая птица прививается. Хутор то, вон, что там в стороне, это моего дяди. Человек век трудился, сколачивал хозяйство, по гвоздику, по бланочке, а коммуна—отобрала.

Мне сразу стала понятна неприязнь возницы к коммуне и коммунарам. Стали понятны и поступки возницы, который чуть не каждому из едущих на поле коммунаров давал грубые, полные злобы и ненависти прозвища. Племянник кулака переживает то же, что и его дядя.

Дорога в гору привела в дер. Калинино. У недавно освобожденного от жильцов теперь пустующего дома, несколько человек крестьян сгрудились около повозок, о чем то серьезно рассуждая.

— Коммунары..., вот тот с рыженькой бородкой, в сером френче, член правления коммуны, один из активных организаторов—показывает на человека, который стоит в центре собравшихся людей, землемер Сорокин. Я спрыгиваю с повозки и иду по направлению к коммунарам.

— Из „Северной Правды"? Ай, яй, яй, а мы вчера ждали.. Пробный выход в поле проводили. Ребята из рика тоже уже к концу пришли. Николашка! За Коршуновым сходи, он в Малую деревню обедать ушел, скажи, чтоб шел сюда, нужно. Холодно, крепко завернуло. Пойдем огреемся.

В конце 1927 г. в дер. Калинино по инициативе местного крестьянина середняка Ширяева организовался с.-х. кружок. Две зимы долгими, темными вечерами просиживали калининские мужики над брошюрами по агрономии. Рассуждения, обмен мнений..., долгие и крепкие мужицкие разговоры и после двух лет работы кружка

организовалось т-во картофелеводов, у руководства которым стал тот же Ширяев. После года работы т-ва картофелеводов в октябре прошлого года, в Калинине организовалась с.-х. артель. Беднота. маломощные середняки и некоторые из крепких середняков пошли за Ширяевым в с.-х. артель, а остальные колеблющиеся, как взбалмошная волна в половодье, отхлынули от с.-х. артели. С октября 1929 г. по январь 1930 г. работала с.-х. артель. В январе нынешнего года пришел в деревню из города крестьянин-бедняк, коммунист Коршунов. При каждой встрече с Ширяевым, членами с.-х. артели Коршунов заговаривал об одном:

— Дмитрий Михайлович, артель не цель, ну что артель? Врозь живем, в каждом еще не погас, жгучий до боли, огонек собственности, каждый норовит к себе. Нужно что то другое. Как бы ты думал насчет общего хотя бы, ну, как это тебе сказать...—мялся в разговоре Коршунов.

— Как бы это насчет коммуны?

— Николай Васильевич—воодушевлялся горячими речами Ширяев,—нужно с беднотой поговорить, да и середняки, которые поактивнее, не против будут.

Немного дней спустя после разговора, Коршунов и Ширяев ходили по избам.

— В коммуну пойдешь? только не криви... желание есть, иди... без желания—не... а то при первой неудаче—сдашь. Ну и пойдет все прахом.—Убеждали мужиков Коршунов с Ширяевым.

16 хозяйств вошло в коммуну при организации, а во время работы по коллективизации в коммуну вошло еще 8 хозяйств.

В это время вокруг коммуны, как падкие мухи на липкий мед, волновались слушки.

— Коммуну ни от каких налогов не освободят. Она будет платить налогов больше, чем кулак. Коммуна у себя ни крошки хлеба не может оставить, все до зерна государство заберет. Коммунаров заставят повинности разные нести. Эти слухи пошли после того, как выселили с насиженных гнезд две ястребиные семьи—Садовых и Глазуновых.

— Садовы — отец и сын, были когда то „тихими", „скромными" мужиками, с крепким хозяйством, имели лес, полегоньку торговывали, брали подряды на разные работы, снабжали всем необходимым при нужде мужика и попали в мужицкие „благодетели". В годы завирухи, ястреб и ястребенок расправили свои крылья, пропала нелюдимая дикость, охватила их смелость, жульническое упорство и алчность. Отец Садов выбивается „в советские люди", он волостной „наркомтруд", член президиума вика, через его руки проходят машины, имущество, сельскохозяйственный инвентарь, оставшийся в поместьях заблаговременно убежавших правителей державной Руси.

Во время рассвета „политических" сил Садовых умирает хозяин калининской усадьбы Столяров, и Садов проныра выдает себя за компаньона имущества Столярова, перекочевывает со своими птенцами в усадьбу. Тихо, незаметно для мужиков, в усадьбу перевозятся виковские машины, ценный инвентарь и имущество. И только в то время, когда советское государство окрепло, когда в деревню пошли машины советского производ-

ства, Садовы оказали награбленное, „кровью и потом нажитое“ по их словам, били себя в грудь, клялись:

— На сельскладе вчера приобрел, еле-еле выпросили. Не дают, спрос большой.

Мужикам был известен „сельсклад“ Садовых, а окончательно о нем узнали во время их раскулачивания, когда из тесных амбарушек из-под сена и соломы, из сараев и кладовых вытаскивали груды награбленного Садовыми добра. Вот профиль „благодетелей“ Садовых, чтобы показать все их лицо, много потребуется времени.

Глазуновы — заводчики... В Челпановском районе и далеко за его границами не мало разбросано картофелетерочных и кирпичных заводов, когда то принадлежащих братьям Глазуновым. Чья пашня вокруг Иванникова, Калинина, Малой, Шесткова и других ближних и дальних деревень? — Глазуновых...

Чьи леса вокруг этих деревень, а их больше чем 3 тысячи десятин? — Глазуновых.

Чья рожь обильно смоченная мужицким потом и слезами, в рост человека, шумит на полях? — Глазуновых.

Чьи кони, добротные, сытые, крепкие?—Глазуновых.

Чьи луга с богатыми укосами?—Глазуновых и... частично Садовых.

Это было не так давно. Коммунар Бахирев кузнец и плотник и сейчас помнит, как за две самовольно срубленных гнилых осины в глазуновских лесах, он две недели в самую жаркую пору деревенской страды—навозницу, не разгибая спины, плотничал на глазуновских постройках, да кроме того уплатил в пухлый глазуновский кошелек 5 руб., а гнилым осинам красная цена по тому времени—80 коп.

А чьи теперь кони? Чьи леса, поля, пашни?—Государственные, мужицкие, коммуны.

В конце января 1930 г. Глазуновых и Садовых раскулачили, их усадьбы перешли к коммуне. С печей и полатей, засиженных „вековечными" тараканами—„беспаспортными" жильцами бедняцких изб, стали переселяться коммунары в просторные улыбчивые дома Глазуновых и Садовых. Но... бедняки вспомнили, вспомнили едкие, злобивые слова Садова сына и братьев Глазуновых.

— Коровьи слезы на вас отольются.

И... замешкались. Нерешительные, веками запуганные бедняки не поехали в кулацкие поместья, тогда актив коммуны нашел выход:

— Решительных, крепких в борьбе мужиков вселяем в дома Садовых и Глазуновых, а бедноту в освободившиеся середняцкие избы, сносные для жилья.

Садовы переселились в дер. Малую, где полдеревни—их родня. А Глазуновы остались рядом со своей усадьбой в с. Иванникове, как мыши разбежались по мужицким избам, с писком жалоб и ручьями крокодиловых слез. На каждом перекрестке что нибудь да сочиняли про коммуну, на каждом перекрестке говорили всего пять слов, которые уже я слышал от возницы:

— К готовому гнезду любая птица прививается.

Мужики понимали смысл их слов. Подкулачники и все обиженные и ущемленные нашим временем таили скрытую злобу на коммунаров. После статьи тов. Сталина они разносили по дворам слухи.

— Борьбы с кулачеством теперь не будет. Все отобранное у кулаков будет возвращено обратно. На кол-

хозный сектор не будут обращать внимания, кроме социалистического. Колхозы существуют только до весны, а там их распустят. Скоро война—и многое другое, говорили кулаки, что им было на руку.

„Пугало" слухов кулачеству не оказало помощи, коммунары крепились, ни одного голоса после этих речей не было подано о выходе из коммуны.

И когда не помогли кулацкие речи, пришел в коммуну старик, с лицом святителя со старой иконы, крепкий середняк Грязнов. Пришел, расплакался.—„Трудно жить одному, от мира оторванному. Я ведь с вами хочу быть, т. е. в коммуне... принимайте штоли?

— Как же это ты, ведь все же церковным старостой был?

— Так, чтож я худого вам делал?

И после долгих выжиданий старика в коммуну взяли. Месяц жил старик Грязнов в коммуне, враждебного взгляда ни одному из коммунаров не показывал, медовые речи лил на собраниях, а через месяц пошли в коммуне разговоры:

— Садовым все возвращают, все отдают. Коммуна без лошадей и машин останется.

— Нагрубили своему человеку — подвывали бабы. А потом, когда разговоры сапой разлагали коммуну, из коммуны ушло 7 хозяйств, в том числе и богобоязненный старик—церковный староста Грязнов. Сам ушел и других увел.

После первого испытания оставшиеся 17 хозяйств не дрогнули, остались каждый на своем месте, в коммуне. Остались наиболее крепкие, выдержанные, твердые и упорствующие в своем желании — жить коллективом.

В коммуне сейчас 17 хозяйств, 85 едоков. 96 га земельной площади имеет коммуна. 16 рабочих лошадей, 23 головы продуктивного скота, 12 телят и 12 овец стоят сегодня в скотных дворах коммуны. В коммуне живет 5 бедняцких и 11 середняцких хозяйств и одна семья—батраки.

В коммуне есть весь необходимый инвентарь и лишь недостаток в тяговой силе. 16 лошадей не в силах обработать 96 га.

17, 18, 19 и 20 апреля коммуна уже засеяла 16 га клевера. На удивление мужикам, под охание и ахание женщин сеяли коммунары в середине апреля клевер.

Коммуна нынче засадила картофеля 23 га, под озимь—16 га, овес—16, турнепс—2 га, капуста—2 га, огурцы—1 га, лен—2 га, ячмень—1 га. И нынче, как опыт коммуна посеет на своих полосах редкую для Заволжья культуру—цикорий.

Скот за неимением скотного просторного двора только частично сведен на общий двор.

Все коммунары, живущие в усадьбах, пользуются общественным питанием. Осенью, после уборки урожая коммунары намерены построить общий скотный двор из имеющихся в коммуне сараев и отремонтировать имеющийся. За зиму коммуна заработала на доставке товаров в Космынинское ЕПО 800 руб. Средства пойдут на постройку необходимых служб.

В Шесткове была частная кузница. Кузница—единственная на всю округу. Исполняя массу заказов, горн кузницы не потухал ни днем, ни ночью, а теперь кузница стоит под горой забытой и одинокой, потому, что в полуверсте от нее стоит новая кузня коммуны. Это один пример вытеснения частника.

Пример второй—тот самый Грязнов, который мыслил коммуну взорвать изнутри, давал на лета в стада ближних деревень своих бычков. Весной мужики ходили к нему с повинной:

— Дай бычка на лето.

— 200 руб. за пользование бычком и чтобы деньги—сразу.

А где мужику весной денег взять? И последние крохи изо рта мужиков валились в пухлую кулацкую утробу. Нынче Грязнов потерпел неудачу. В дер. Шестково сдал своего бычка 200 руб за лето—деньги сразу.

Коммуна заговорила.

— Стонет мужик от кулацких аппетитов, выучить надо

И коммуна приобрела 2-х племенных бычков. Коммунары пришли в Шестково и—без обиняков:

— Берите мужики нашего бычка. Племенной, от премированной матки.., Мы не Грязновы—200 руб. не возьмем, 112 руб. за лето давайте, при чем деньги не сразу, половину или 30—40% отдадите сейчас, а другие осенью. Шестковцы согласились. Ущемленный Грязнов своего бычка, плохого конкурента коммунарскому, зарезал, а другой его бычек ждет своей очереди под... нож.

Враги коммуны и их приспешники распускали худую славу о коммуне. Глазуновы и Садовы, запугав беднячку Богомолову, заставили ее выйти из коммуны, а после уста Богомоловой передавали кулацкие мысли:

— В коммуне моего коня хуже кормят, чем в других. Моим детишкам молока не дают, а иногда плеснут с ложки или прокислого или снятого.

Враг всякими путями подстрекал население на борьбу с коммуной. Открытого боя он не принимал. Часть борьбы

даже перенесли на малых детишек-школьников. Послушайте, что говорит 9-тилетний коммунар Миша:

— С иваниковскими ребятами, мы коммунарские не дружим. Они дерутся. Из школы идешь или в школу, все выглядывают тебя, как бы поколотить. Раньше уроков убегать приходится.

И в один из апрельских вечеров, когда влажное тепло окутывало землю и местами пробивающуюся зелень, над базой коммуны, бывш. усадьбой Глазуновых, сильно закружили волны звуков. Четко, ясно расходилось по поляне и по заросшему бурьяном саду:

— Алло! алло, алло! говорит Москва . станция им. Коминтерна, на волне...

Иванниковские бородачи потянулись на диковинный московский голос. До первых петухов разговаривал Калиныч с мужиками. Говорил о колхозе, коммуне, о той борьбе, что на их глазах проходит.. о поднятых пластах старого в деревне и о растущем новом. Долго мужики не подходили к коммунарам, долго и коммунары не решались заговаривать первыми, а потом подошли самые пожилые мужики к председателю коммуны Коршунову и стали высказывать свои „природные" опасения по поводу ранних посевов клевера, подошли в разговорах близко друг к другу. Плотина чужой ненависти прорвалась.

В апреле через дер. Калинино прошли колонны коммунаров и школьников, а за ними и по краям дороги, усмехаясь и недоверчиво поглядывая на запряженные пары коммунарских лошадей, шли единоличники. Кулачье, показывая на бывш. своих лошадей, шипело:

— Да, разве, каряя у меня такой была, да разве коли бока у ней были впалы.

— А и полно тебе ныть, лошади стали ладнее, чем у тебя—говорили бедняки некоммунары в ответ кулачью. Член правления коммуны Ширяев на шипенье кулаков ответ держал:

— Сами пополам с голодом жить будем, а коней в мор не пустим... Получше покормишь, побольше поработают.

Лошади размашисто шли и задорно ржали наперекор бывшим своим хозяевам. За два дня до срока куммуна была готова к пробному выезду. Срочно закончила ремонт инвентаря, проверила ссыпанные семфонды, исправила сбрую, обменяла посевной материал на чистосортный. После пробного выезда, после показа дружного труда, потянулись к коммунарам вышедшие из коммуны.

— Хоть бы и обратно...

— Что? Одному жить надоело?..

— И то и не то...

А после узнали... вышедшие из коммуны по „божески" поделили свою землю, — крепким хозяйствам досталось лучшее, а беднякам—песок, суглинок и все то, на чем растет тощий колос.

Сумерки шатко отступали перед плотной темнотой. Ночь большая, широкая и глухая тяжело навалилась на поля и лес. Лица уже было не разобрать, только ощущал, что моя слабая рука зажата в сильной, шершавой ладони Коршунова.

— А вы к нам летом заглядывайте. Летом у нас хорошо. Совершенно другое, не то, что весной. Да и коммуна наша другой будет. Крепче будем. Летом теплый

двор построим. Коммунарские поля смотреть приезжайте. Поля наши широкие. Сразу глазом не охватишь. Дела много, а помощи со стороны мало. Совета спросить и то не у кого. Заглядывайте к нам чаще, да и шефам городским об этом же скажите. Нам помощь не только делом, но и словом, советом нужна.

В последний раз Коршунов потряс мою руку. И голосом, в котором слышалось нежелание так скоро расстаться с свежим человеком, повторил тоже:

— Летом, обязательно, заглядывайте. Ждем...

Я уходил в перелесок, где вечером каждый шорох перерастает в шум, каждый треск сухого хвороста—в эхо. И прежде чем скрыться в плотном, белесом ночью, березняке оглянулся в сторону коммуны им. Сталина.

Белый дом на пригорке не могла затопить ночь, перед домом, как на экране, человеческий силует махал фуражкой. Ветер с пригорка приносил слова:

— С частливо-о... Лето-о-ом... Заглядывайте-е...

И вместе с голосом Коршунова, перебивая его, со стороны села лилась петушинная перекличка—сельские часы.

ЛЕН И МОЛОКО.

1

В ЭТОМ лесу девственная тишина. Даже легкий шум ветра не нарушает ее.

В северной части леса бродят, редкие, в наше время, лоси. Их охраняет особый закон. Убийство лося запрещено.

Волкам и другой лесной живности тоже раздолье. В этом лесу, густом, смешанном (краснолесье и лиственный), есть места, куда еще не разу не ступала нога человека.

По дикой, проложенной лесорубами и возчиками дороге пробираться трудно. Кругом снег, усыпанный иглами елей, сосен. И как то сразу дорога выводит на открытую поляну.

Каждая поляна имеет свое, особенное название. Да и сам лес почему-то называется семигорным. Гор никаких не предвидится. Только узенькие, пересыхающие летом речонки: Хонька, Вершуга, Кострома бороздят лес, извиваются между небольших холмов в густой древесной заросли.

Но вот о полянах. Одна поляна называется „монастырские избушки". Был ли здесь скит, монастырское поселение—неизвестно. Следов же нет никаких.

Но зато сама поляна широкая, ровная и расположилась в центральной экономии буйского льносовхоза. Здесь визжание пилы оглашает спокойный воздух. Тюканье топора двоится эхом.

На этой поляне, под открытым небом склад будущего гиганта молочно-льняного комбината—льносовхоза. Ровными рядами выстроились кирпичи. Они аккуратно накрыты дощатым навесом, крышей. Строевой свеже-спиленный лес краснеет, уложенный рядами. Десятки подвод неутомимо везут кирпичи, бревна, доски на поляну и по разным дорогам от склада во все лесные углы, где зарождаются стройки совхоза.

Снова дорога пробирается среди неуступчивых, угрюмых деревьев. Лес не хочет сдаваться. Каждую пядь лесной площади приходится брать с боем. Это буквально. Все военные приемы налицо. Наступление совхоза развивается так: рубят лес, корчуют и взрывают корневища и сжигают их. Они свалены в „вальи"—большие кучи, которые пока еще покрывают холмами будущие поля льносовхоза.

Круглая поляна. Называется она поляной „Вани лешего". В дремучем лесу, напоминающем старые сказки, леших, ведьм—вместо всей этой несуществующей нечисти - выросли огромные дома-бараки. Они еще завалены стружками. Они еще окружены тесом, бревнами.

Но в одном бараке живут. Работы идут так: сегодня остов здания, завтра крыша, а послезавтра уже настлан пол. И так в часы и дни вырастает новое просторное, светлое жилье-общежития.

Резко белеют своей свежестью эти бараки. А вокруг стоят и укоризненно смотрят огромные ели, сосны, березы. Но их рубить не будут. Усадьба должна быть зеленой. А здесь центральная экономия совхоза.

Бараки добротные, но временные, их сменит жилье и стройки городка социалистического типа.

А пока совхозский центр в деревне Глобеново или Глобенки, в одиннадцати километрах от Буя—деревни районного масштаба.

Если вы попадете в Глобеново, вас охватит разочарование:

— Где же гигант? Деревня как деревня и ничего больше.

Но приглядитесь пристальнее. И Глобеново уже будет необычной деревней. Во-первых на ухабистых улицах глухой деревни горделиво высятся столбы газовых висячих фонарей. Сеть проводов окутывает деревню и приникает то к одной избе, то к другой. Здесь есть телефон.

Пройдите к новым большим зданиям. Войдите в них и вы увидите десятки тракторов—„клетраков", сверкающих свежестью краски.

Рядом механические ремонтные мастерские, где напряженно идет борьба за успех весеннего сева, ремонтируются машины.

Сюда же в Глобеново спешно доставляются корчевальные машины. Их устройство простое, по типу лебедки. В соединении с трактороми они разгрызут корневища упорствующего леса и подготовят плодородные поля льносовхоза.

2

Ветка железной дороги с разъезда Угольское гонит состав вагонов—холодильников в центральную экономию льносовхоза.

Сегодня как и всегда совхоз отправляет три вагона цельного молока рабочим красной столицы—Москвы. На широких полях совхоза пасутся стада. Молочных коров ярославок, холмогорок, важных сименталок—около двух десятков тысяч голов.

Они и дают молоко. В скотных дворах, каждый на две тысячи голов (нигде в мире не было еще таких дворов), скот разбит по секциям в 200 голов каждая.

Дворы имеют бетонированные полы. На них стоки для навозной жижи. Блестят рельсы, по которым бегут вагонетки с кормом, навозом и т. д. Подвесные вагонетки по воздушной дороге подносят корм и пр. В скотных дворах водопровод, электричество. Чисто и светло.

Скот добреет. Дойка идет при помощи электричества У ворот скотных дворов дежурят грузовики—форды. Они подхватывают бидоны молока, перебрасывают его на станцию буйского совхоза. Оттуда в вагоны-холодильники, и молоко двинулось в Москву.

На тридцатисемиверстной площади раскинулся молочно-льняной комбинат. Пробежимся бегом по совхозу.

Вот поля. На них волнуется лен—будущее сырье для промышленности. Сорок процентов посевплощади совхоза будет занято льном. Средний урожай даст с одинадцати тысяч гекторов—33 тысячи тонн соломы в год.

Солома переходит на три льнообделочных завода. Заводы небольшие по 2 и 3 аггрегата (турбинные установки). Они эту солому обрабатывают.

Промышленное сырье—льноволокно также на зеленых фордах—грузовиках с заводов подвозится на станцию совхоза, грузится в вагоны и в Кострому.

Костромские фабрики получают отсюда половину всего потребного им сырья. А это значит, что совхоз один дает этого сырья в четыре раза большее количество, чем когда-то давал весь Костромской округ.

Во время сева 250 гусеничных тракторов фыркают по полям совхоза. Кроме льна—шестьдесят процентов площади будет занято кормовым культурами—клевером, смешанной с овсом викой, подсолнечниками, картофелем и озимой рожью.

Там, где прежде тянулись необозримые девственные семигорные леса, разлились волнующиеся поля совхоза. Эти просторы—не обычные русские степные, голые равнины, а поля высококультурного небывалого в мире, социалистического молочно-льняного комбината.

3

Но где же живут люди, много-ли их? По блестящему шоссе, разрезающему совхоз на части—на легком автомобиле мы пронесемся по совхозу. Вот огромное здание вечером залитое огнями электричества. Здесь клуб. В нем обширный зрительный зал. В клубе помещается одновременно до пяти тысяч человек. Здесь есть все: от библиотек до всевозможных кружков.

Недалеко фабрика—кухня. 4500 обедов в день—ее пропускная способность. Больница.

Школа--семилетка, льноводный техникум—очаги выковки новых кадров по льняной промышленности.

Кооперативные магазины, столовые и проч.

И затем идут ровные кварталы города, где живут десят тысяч человек, работающих в совхозе.

Какой тип зданий в этом социалистическом городке? Там нет спальных кабинок, о которых мечтали не поняв-

шие социалистический город люди (эти кабинки, к слову, практикуются в ночлежках Англии, так какой уж тут социализм).

Там нет и клетушек в 5 метров на индивидуума, как мечтали другие строители социалистического города, не понявшие его цели.

В зданиях совхоза много света, солнца, воздуха. Красивые внешне здания. Не железобетонные небоскребы (достижение буржуазии), а легкие, со всеми коммунальными удобствами дома всех стилей архитектуры.

Не говорим о таких предприятиях, как баня. Но и в самих домах—души, ванны, водопровод.

Электроэнергию дает электростанция мощностью от 4 до 6 тысяч киловатт. На окружное население станции не вполне хватает. Далеко. Ей помогают колхозы, окружающие совхоз.

Лес сдался на милость победителя. Он обслуживает совхоз, создавая зеленую усадьбу.

Лоси? Они ушли в другие леса.

И напряженно пульсирует жизнь в льносовхозе. Ведь ежедневно нужно дать Москве три вагона цельного молока и ежегодно обеспечить на 50% костромские фабрики льном.

Совхоз стоит 27 миллионов, а ежегодная чистая прибыль его 3 миллиона рублей...

Таким будет Буйский льняно-молочный комбинат через пять лет. Может быть он обрисован схематично, Может быть он не совсем так точно развернется. Но сущность и физическое лицо его будут именно такими. Вот что строится около города Буя.

Вот что строит пролетариат, в Октябре завоевавший власть. Для этого нужны напряжение силы и воли рабочего класса в выполнении промфинпланов своих фабрик и заводов—частей нашей пятилетки, потому что, именно, пятилетка наметила такое строительство.

Но ведь Буйский льносовхоз—это капля в том море социалистического строительства, которое широко развернется в течение пятилетки.

Если мы взглянем на Днепрострой, Магнитогорский завод, сеть новых гидроэлектростанций, фабрик, заводов, зерносовхозов и пр.,—то мы поймем, что нам дает пятилетка.

Все силы на выполнение промфинплана предприятий, выполнение пятилетки. Ровнее шаг ударных бригад.

Редколлегия: *Д. Бондарев, Н. Сибиряков и Н. Орлова.*

СОДЕРЖАНИЕ.

Д. Бондарев.
ПРОСТЫЕ ДНИ. Наброски к повести . . 5

Н. Сибиряков.
СТИХИ.
Моя походная 35
Простая баллада 36
В. Маяковскому 39
Мой приятель 40
На демонстрации 42
У ворот 44

Н. Сибиряков.
АРИФМЕТИКА. Рассказ 47

Глеб Матвеенко.
СТИХИ.
Утро 65
Май баррикадный 67
Вот это, да! 69
*** 71

Николай Алешин.
СТИХИЯ. Сцена из пьесы „Земля“ . . 75

А. Колесов.
СТИХИ.
Перекличка 99
Плотник 100
Яблоня 102

Ник. Алешин.
ПАМЯТНИК Рассказ 105

Климент Климович.
СТИХИ.
Мы строим 113
Скоро весна 114
Дед 116

Н. Орлова.
ТРИ ДОЧЕРИ. Эпизоды к роману . . . 119

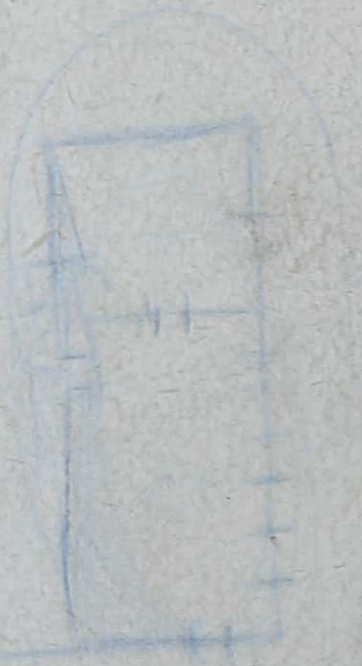
Эдвард Ручинский.
СТИХИ.
Мы—им 153
*** 156
Дай руку, товарищ паровоз! 157

ОЧЕРКИ.

Д. Кононов.
ИМЕНИ СТАЛИНА 163

Д. Бондарев.
ЛЁН И МОЛОКО 179

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ОТДЕЛ КРАЕВОЙ

АРХИВ

Цена 50 коп.